



НЕБЕСНАЯ СТАНЦИЯ  
ПО ИМЕНИ

"РАЙ"

*Андрей Бинев*

*Моей жене - самому терпеливому человеку на свете.*

Андрей Бинев

**Небесная станция по имени РАЙ**

«Автор»

2010

ББК 84.(2Рос-Рус)6

**Бинев А.**

Небесная станция по имени РАЙ / А. Бинев — «Автор», 2010

ISBN 978-5-373-03343-5

Андрей Бинев умеет извлекать из нашей действительности странные и поучительные истории. О собаках, способных быть человечнее, чем люди; о сыне, которому проще сломать свою судьбу, чем поверить в подлость отца; о грустном уделе Гаргантюа, сына Дюймовочки Вечные истории о дружбе и предательстве, о верности себе и любви к ближнему, позволяющие заглянуть за грань, туда, где, может быть, существует небесная станция по имени РАЙ и то, что останется после нас.

ББК 84.(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-373-03343-5

© Бинев А., 2010

© Автор, 2010

# Содержание

Сестрицы Авербух	6
Конец ознакомительного фрагмента.	42

**Андрей Бинев**  
**Небесная станция по имени РАЙ**

© А. Бинев, 2010

\* \* \*

*Моей жене, самому терпеливому человеку на свете*

## Сестрицы Авербух

*Не стремись знать всё, чтобы не стать во всем невеждой.*  
*Демокрит*

Заметно стареющий, высокий, худой, с седоватой шевелюрой профессор Максимилиан Авдеевич Свежников поглядывал на свою группу с добродушной, чуть лукавой усмешкой. Пятеро молодых людей и три девушки его мастерской были отобраны после зачисления в Художественное училище им лично и собственноручно. И вот уже больше года они были рядом друг с другом, присутствуя в его творческой жизни, как разновеликие и разноцветные масляные горочки на его выдавшей виды палитре. Размажутся, смешаются, просохнут и эти, оставив о себе лишь отдаленную память, похожую на жесткую корку смазанных красок на плоской поверхности дощечки.

Сейчас они еще свежие, маслянистые, девственно чистых цветов, выпуклые и искрящиеся, но придет время, и они наплзут друг на друга, подвергнутся взаимной диффузии и лишь тот, кто их смешивал, сможет вспомнить их первородные цвета.

Мастерская Свежникова была известна в училище как «лаборатория малых талантов». Сюда попадали те, кто на вступительном творческом конкурсе оказывался в хвосте и до самого зачисления на курс не знал, будет ли вообще принят. Свежникова за то и ценили – за его милосердие, за его педагогический талант, в основе которого лежала произнесенная когда-то им, на художественном совете училища, фраза: «Нет бесталанных людей, все рождаются гениями, им лишь не достаёт поводыря, ведущего их к блистательным вершинам творчества».

– Вы игнорируете генетику, коллега? – спросил с усмешкой откровенно недолюбливавший Свежникова доцент кафедры графики бородачатый смутьян Сашка Востриков.

– Я игнорирую черствость, коллега! – ответил Свежников, плативший ему той же монетой.

Вострикова никто не звал иначе, чем «Сашка», даже его ученики. Называли так прямо в глаза:

– Сашка, а тут, как вы думаете, сохранилась глубина изображения? Не плоская ли картинка? Я старался (или старалась)...

– Сашка, а можно, я это дома доделаю? Мне тут всё мешает!

– Сашка, я не успел (или не успела), я всё думал, думал (или думала, думала), вы мне даже снились...

И Сашка не обижался, потому что не придавал значения таким мелочам, как прозвища и имена; главным для него было – кто произносит и что за этими словами следует. Он серьезно относился к наследственности, считая ее самым важным фактором в таланте художника. В пику Свежникову Сашка Востриков говорил, что все как раз рождаются балбесами, а не гениями; у кого-то просыпается его собственная генетика, а у кого-то спит до самой смерти. Или ее вообще нет!

Собственно, Востриков и доцентом-то не был. Уже лет пять перед его должностью значилась обидная аббревиатура «и. о.». Обидная для кого угодно, но не для него.

– Главное не быть «и. о. Сашки Вострикова», – говорил он совершенно серьезно, – а уж «и. о. доцента» как-нибудь переживем!

Востриков не закончил высшее художественное училище или академию, он был выпускником архитектурного института и со смехом рассказывал, что больше всего увлекался в свою студенческую пору штриховкой чертежей.

– Это мне удавалось куда лучше, чем вычерчивание жестких форм. В отличие от поэта... я с детства... «обожал овал, я с детства угол презирал».

Он любил выпуклости во всём. Даже его темноволосые, смуглые, всегда с восточными корнями женщины отличались почти графическими, густо штрихованными формами с белыми овалами выпуклых поверхностей. Было почти натуральное ощущение талантливой черно-белой графики. Особенно графику «удавались» глаза – крупные, черные, с ослепительной искрой зрачка.

– Черно-белая графика превосходит любую живопись, – говорил Востриков, – она дает волю воображению, она демократична по своей сути, но она и дисциплинирует куда больше, чем всякое размазывание красок по холсту. Её законы жестки, как никакие диктаторские, и в то же время вольнолюбивы. Всякая власть, если бы она была столь умна, чтобы брать пример с законов карандашной графики, удовлетворила бы каждого. Таковую графику можно было бы обратить в гравюру и показывать как эталон! Да и в основе любой мазни лежит обыкновенная карандашная зарисовка, если хотите, та же карандашная графика. Это потом уже она портится краской... Как добрые начала безвкусной политикой!

Свежникова Сашка Востриков невзлюбил сразу, остро, будто провел по своей мятежной душе заточенным жалом карандаша еще с рождения, хотя знал его, профессора Свежникова, лишь лет пять или семь по совместной работе в училище.

– Поводырь хренов! – отзывался о профессоре и. о. доцента. – Генетики, видишь ли, он не признает. Каждая собака, по его мнению, может малевать! Тогда каждый, кто малует, тоже собака. Во всяком случае, вполне может ею быть. Достаточно лишь какого-нибудь такого вот «поводыря»!

Но профессор Свежников всё это заносчиво игнорировал и смутьянов не признавал, будь они хоть графиками, хоть живописцами, хоть дизайнерами (была и такая модная, доходная специальность теперь). Профессор Свежников признавал лишь силу педагогики, которая способна была заменить собой любую генетику и даже превзойти ее. И еще народный художник России, давний член Союза художников, профессор Свежников признавал собственные художественные таланты, делая даже для них серьезное исключение – тут в основе лежала конечно же генетика. Но это было как раз то самое исключение, которое лишь подтверждало правило: истинных талантов так мало, они так единичны, что могут предводительствовать в толпе посредственностей и звать их к вершине, на которой сами и родились. Генетика всегда имеет человеческое имя и ученое звание. В данном случае имя ей – Максимилиан Свежников, а звание – доктор живописи, профессор. Эверест населен богами; они там не толкаются, потому что их мало. Он – исключение из общих правил, узел на поверхности тяжеленного мешка, а к тому узлу тянутся складки.

Творческая мастерская Свежникова на втором курсе училища его радовала просветленными, чуть испуганными и внимающими лицами студентов.

Пятеро юношей, собственно, далеко не все были юношами: лишь двое из них поступили сразу после средней школы. Гарик Семенов и Эдик Асланян. Гарик принадлежал к известному роду художников-монументалистов и скульпторов, унаследовав непреодолимую тягу к изобразительной грандиозности. Всё, что он ни делал, производило впечатление репетиции к созданию в будущем полотна, способного включить в себя давящую тяжесть вселенной. На досуге он занимался и лепкой, и даже литьем.

– Ну, пусть, пусть, – поощрительно шептал Свежников. – Это по молодости, максимализм возраста. Пройдет. А коли не пройдет, так разорит. Если родня не поддержит...

Родня и попросила пригреть у себя Гарика. Да разве ж откажешь дружным монументалистам!

Эдик Асланян писал в утонченном национальном стиле своего народа.

– У них и кухня такая, – уважительно размышлял Свежников, – можно было бы и за французов принять, и за некоторых итальянцев, но непреодолима разница в специях, в запахах, в национальных, очень уж специфичных нюансах... в тенях, в конце концов. Пусть себе

варит, его дорожка хоть и горная, извилистая, но цель её известна. В исхоженных горах нет загадок, достаточно лишь понимать, что вытоптанная тропа ведет к единственному живительному источнику, и не будь ее, не станет и самой жизни. Останутся лишь дикие горы. В чем же тут загадка?

Батюшка Эдика очень успешно творил на иной ниве – его покровителем с самых ранних времен был Меркурий, бог торговли. Первоначально Меркурий был богом полей и хлеба, позже, видимо, после какого-то очень удачного урожая, он стал олицетворять проворство и представлять на италийских языческих небесах земные дороги, скотоводство и торговлю. Им и покровительствовал. В греческой мифологии его звали Гермесом, так же звали и отца Эдика Асланяна.

Это очень забавляло Максимилиана Свежникова, даже немного смешило. Он нередко ласкал доброй своей, невинной рукой столь же невинную темную, кудлатую голову Эдика, старательно склоненную к мольберту или к этюднику.

Трое других «юношей» были уже сформировавшимися мужскими особями: Матвей Наливайко, Иван Большой и Сергей Павликов.

Матвею было двадцать восемь лет, крупный, даже грузный, с полной, мускулистой шеей, намучившийся непризнанием своих талантов односельчанами из-под украинского Ужгорода – по их авторитетному мнению, парень явно с посредственными способностями. Он еле-еле прошел по конкурсу в училище, с четвертой или даже пятой попытки, заняв самую последнюю позицию. Но Свежников сжалился над ним, заглянув в его маленькие, измученные глазки, криво посаженные на большом белом, одутловатом лице. Так в «лаборатории малых талантов» появился немногословный страдалец Матвей Наливайко.

Иван Большой был самым щуплым, самым невзрачным студентом курса, всей своей внешностью напрочь отрицавшим устоявшийся стереотип его имени и фамилии. Ему было почти столько же лет, сколько и Наливайко. Происходил он из неполной рабочей семьи, в которой всю трудовую жизнь рвалась из складчатой, как у старой рептилии, кожи его полуграмотная мать, работница текстильного предприятия, и две старшие сестры, похожие на нее внешне, одна за другой пошли по стопам матери. Отца в семье давно уже не было, он сбежал куда-то за Урал (там Сибирь, там места много!) за месяц до рождения Ивана. Тоже, говорят, был такой же «большой», как теперь и Иван.

Мальчик рос с блокнотом в руках и набором цветных карандашей. Он писал всё подряд: и рептилию-мату, и рептилий-сестер, и скучную проходную текстильной фабрики, и доброго соседа дядю Гену и его злобную жену тетю Надю, и всех своих одноклассников и учителей. В армии, в танковой части, его назначили писарем в штаб и поручили оформлять «боевой уголок». Он устроил здесь галерею офицерских и солдатских ликов. Места не хватало, вывешивали на стены в коридорах. Благодаря рядовому Ивану Большому, казарма стала похожа на немецкий средневековый замок с галереей портретов воинственных рыцарей. Он украсил своими работами грандиозный стенд «Боевого пути части» и «Лучших в воинской профессии» рядом с плацем. Его очень ценили! Командир части генерал-майор Карманов заказал ему групповой портрет всей своей семьи – себя, жены, сына и двух собак охотничьей породы – и остался доволен. Огромное полотно свисало на головы гостей в его загородной даче, в широкой безвкусной гостиной.

– Известный художник, – со значением представлял гостям генерал-майор Карманов. – Собственные, так сказать, кадры. В художественное лично рекомендовал, вот этой самой рукой...

И генерал так потрясал в воздухе ладонью, что многие даже думали, не расслышав всего, будто он сам и написал своё семейное полотно.

Но Карманов был честен: он действительно подписал демобилизованному рядовому Ивану Большому направление в Художественное училище, и даже звонил в какое-то важное

министерство своему старому приятелю, чтобы тот поспособствовал поступлению Ивана на курс. Поспособствовал ли приятель, или письмо генерала Карманова сыграло свою роль, или же сам Иван Большой оказался достоин зачисления, но конкурс он с успехом выдержал, причем с первого раза, и его вытащил в свою «лабораторию малых талантов» педагог и мастер Максимилиан Авдеевич Свежников.

Третьим великовозрастным юношей был тридцатилетний Сергей Павликов, открывший в себе художественные таланты с необыкновенным для этого тонкого дела опозданием. Он уже окончил к тому времени вечернее отделение экономического факультета какой-то народно-хозяйственной академии, успел поработать бухгалтером на фабрике по производству мыла, стиральных порошков и отбеливателей, и вдруг принялся рисовать. Его супруга, тоже экономист и тоже бухгалтер, сначала отнеслась к этому несерьезно, как к временному помешательству, но после того как Сергей начал тратиться на мольберт, этюдник, краски, холсты, бумагу, кисти, подрамники, пришла в ужас. Лишь палитру он смастерил сам из куска фанеры, потому что слышал где-то, что это к удаче; остальное покупал, да еще самое дорогое, самое лучшее. Он исчезал из дома на все выходные и возвращался возбужденный, раскрасневшийся, как от любовницы, надыхавшийся на натуре свежим воздухом и с этюдом то леса, то какой-нибудь церквушки, то изгибающегося в девственных зарослях ручейка, то чего-нибудь еще, тихого, вечного, уютного.

– Плоско, – сокрушался он на следующий день, подолгу нервно разглядывая свою незаконченную работу. – Надо бы всё сначала!

Но их маленькому сыну, шестилетнему Владику, папины искусства нравились. Он рассматривал их, жмурился и очень расстраивался, прямо-таки до слез, когда папа загрунтовывал работу, стирая ее из плоскости своей «выходной» жизни.

– Лучше бы пил! – отчаянно жаловалась жена подруге.

– Чем лучше-то! – изумлялась подруга, которая страдала как раз от этого пристрастия своего мужа.

– Тогда бы всё было ясно! – отвечала жена художника-любителя. – Разошлась бы и всё тут! А сейчас я вроде изверг – у него, видишь ли, талант проснулся, а я, дура безмозглая, мешаю.

Сергей Павликов тайком отнес свои работы на творческий конкурс в Художественное училище и был допущен к экзаменам. Сдавал он всё с самого начала блестяще, то есть русский язык, литературу, мировую художественную культуру. Память у него была исключительно цепкая, профессиональная.

Специальность «монументально-декоративное искусство», куда он стремился, потребовала от него сдать еще экзамен по рисунку (досталась голова и тело до пояса миленькой девчушки, терпеливо – по шесть часов два дня подряд – сидевшей перед абитуриентами в прохладной светлой студии), экзамен по живописи (так уж получилось, что та же модель, на этот раз обнаженная, так же долго и так же терпеливо, покрываясь гусиной кожей, будоражила его творческое внимание) и, наконец, по композиции. Тут у него получилось хуже – обнаружилось, что ему недостает колористических и графических способностей. Может быть, лишь потому, что он не умел работать с тушью, с акварелью, с гуашью, с темперой? Его коньком были бумага или, лучше, холст, карандаш и масло, а на экзамене по композиции всё это было не востребовано.

Сергей Павликов тоже оказался в хвосте конкурса. Но профессор Свежников разглядел в нем всё еще дремлющие таланты и взял в свою мастерскую. К его слову в приемной комиссии по традиции прислушивались – всё-таки сам Максимилиан Свежников настаивает да еще берется за этот неперспективный материал.

Супруга Павликова его поступлением на курс была недовольна, потому что, на ее взгляд, всё это запоздавшая блажь и в дальнейшем принесет одно лишь разочарование, а дальше разо-

рение и, может быть, даже, в конце концов, и пьянство, которое она предпочитала конечно же только на словах, в горячности. Ссоры дома участились, и супруги разошлись. Маленький Владик этого маме никак простить не мог и даже упрямо оправдывал то, что у папы появилась новая муза; роль её исполняла та самая терпеливая модель, с которой Сергей делал свои вступительные работы. Сергей называл ее «Гусонькой» за то, что как только она раздевалась в студии, то сразу покрывалась пупырчатой гусиной кожей. Владик тоже приходил иногда посмотреть на симпатичную голую тетку и даже пытался зарисовать что-то. Профессор Свежников, проявляя педагогическую щедрость, допускал ребенка до обнаженной натуры, говоря, что так воспитывается художественный вкус и мужское сдержанное благородство.

Тремя девушками в «лаборатории малых талантов» были Рая Тамбулаева, двадцатилетняя томная красотка, и близнецы-сестрицы Сара и Евгения Авербух, восемнадцатилетние, внешне совершенно не похожие друг на друга – ни в самой малой степени.

Рая Тамбулаева привлекла взгляд Свежникова не потому, что топталась, как и другие его «птенцы» в самом хвосте вступительного конкурса, а благодаря своей внешности.

– Должно же что-то украшать день! – говорил он своей супруге, которая недоверчиво поглядывала на него.

Напрасно многие думали, что Свежников решил прибрать к рукам красавицу. Он просто любовался ею как законченный эстет, как бог с вершины Эвереста, даже не с Олимпа, потому что Эверест выше Олимпа, а Олимп – это вульгарно.

Рая была дочерью военных. И папа, и мама служили в войсках: папа полковник, мама – старший лейтенант, оба связисты из одной части. Никто в семье не писал, не рисовал и лишнего ничего не читал. Не принято было это в их роду. Однако в дочери души не чаяли, и если бы она пожелала пойти на панель, то и здесь бы, переживая и скрываясь ото всех, согласились бы в конце концов. Но, слава богу, она пожелала другого. С детства Раечка довольно неплохо рисовала, любила цветы, лепестки, тычинки, травку, листочки на воде и всё то, что было страшно далеко от секретных линий военной связи. Она изображала это вдумчиво, молчаливо, страстно. Девушка очаровала приемную комиссию. Свежников разглядел в ней свою повседневную эстетичную музу, а Востриков – очередной увлекательный графический этюд, даже гравюру с темными выпуклыми прелестями, со всех позиционных оценок – и художественных, и интимных.

Но одолел Свежников. Рая попала в его «лабораторию малых талантов», тем более что поступала она на монументально-декоративное искусство, а именно на живопись, а вовсе не на графику.

Сестры Авербух, как уже было сказано, близнецы, но друг на друга похожи не были. Одна, которая Сара, высокая, худая, плоская, с темно-рыжими, жесткими, как медная проволока, волосами, зеленоглазая; Евгения – низкорослая брюнетка, круглолицая, коротконогая, с тяжелым, приземистым задом, с выдающейся грудью и с иссиня-черными, как спелая болгарская слива, глазами.

– Вы что, в самом деле близнецы? – удивился Свежников, увидев впервые сестриц Авербух.

– В самом деле, – вздохнули они совершенно одинаково, виновато, и опустили глаза – одна зеленые, другая черные.

– Как же так, девочки?! – рассмеялся профессор, – Когда вас зачали, папа прервался на обеденный перерыв?

– Почему? – хором спросили сестрицы Авербух.

– А потому, милые, что одна из вас должна была получить до обеда, а вторая – после обеда, – продолжал посмеиваться Свежников. – Разное, видите ли, настроение и разный выходит результат.

Девочки не обиделись. Они переглянулись и вдруг задорно расхохотались. Вот так, насмеявшись вдоволь вдвоем, они и начали свой творческий путь в одной «лаборатории», то есть в мастерской профессора Максимилиана Свежникова.

Дома у Авербухов все были рады. Папа тоже очень смеялся над шуткой профессора и даже спросил, не еврей ли он. Потому что так смело вывернуть наизнанку действительность и так же смело разукрасить ее шуткой мог, по мнению старшего Авербуха, только еврей.

– Ведь самое главное – это подкладка! – говорил Лев Авербух. – Вот идет себе человек в скромном, классической формы пальто, хорошо пошитом, без морщинок, без стяжек. Никто и не посмотрит, разве что специалист. Но вот отогнулась пола и сверкнула дорогая подкладка. Она и показала, кто сшил это пальто, каков карман и каков вкус у хозяина, веселый ли он человек, уверенный ли в себе, умеет ли пошутить – или просто тупой сухарь. Поверьте, это вам еврейский портной говорит...

Обе девочки рисовать начали даже раньше, чем разговаривать. Сначала мелом на драпе, забираясь на широкий, как летное поле, портняжный стол отца, потом карандашами на обратной стороне старых выкроек, а повзрослев, на широких листах блокнотов, на мелованной бумаге, на ватмане и, наконец, на холсте.

Между Сарой и Евгенией этого самого внешнего сходства не было с рождения. Сара родилась первой – на двадцать минут раньше сестры, худая, с мелкими рыжими волосами, налипшими на влажное темечко. Евгения сразу выглядела пышкой, смуглой, черноволосой. Сара тянулась вверх все подростковые годы, а Евгения будто распласталась по земле и росла очень медленно.

Однако по характерам, по способностям и привычкам они были похожи так, что, рассказывая об одной из них, можно было не рассказывать о другой – обе как одна личность. У них даже совершеннейшим образом совпадали желания и все реакции на внешние раздражители. Стоило одной захотеть на горшок, сразу то же самое хотела и вторая. Стоило одной из них предпочесть что-нибудь со стола, немедленно и вторая заявляла о том же. Одновременно обнаружили у себя способности к рисованию, одновременно начали читать и писать, одновременно увлеклись одним и тем же одноклассником и одновременно в нем разочаровались. Их жизнь, их мысли, даже их сны протекали в одной плоскости. Это поражало всех – такая разница во внешних данных и такое духовное родство!

Конечно же обе поступили в Художественное училище с одинаковым баллом. Когда комиссия рассматривала их рисунки, композицию, графику, то даже чуть было не усомнилась в том, что это сделали два разных человека. Если бы они были фотографически похожи друг на друга, то обеих точно не приняли бы, потому что никто не сумел бы отличить одну от другой и доказать, что экзамены не сдавала за обеих какая-то одна из них.

После сдачи работы по графике и. о. доцента Востриков поставил сестриц Авербух за мольберты напротив друг друга и попросил их изобразить любые геометрические фигуры. Каково же было удивление присутствовавших здесь членов комиссии, когда на обоих бумажных листах были начерчены одинакового размера два треугольника, сплетенные друг с другом, заключенные в идеальный круг, а тот, в свою очередь, размещен в наклонном кубе. Рисунки отличались лишь самыми малыми подробностями, которые, скорее, были случайными, чем намеренными.

Опечалили всех лишь невысокие результаты творческих конкурсов. Но профессор Свежников взял близнецов в свою «лабораторию малых талантов».

Свежников не набирал больших групп в свою мастерскую, потому что считал, что педагог обязан работать с каждым индивидуально, а присутствие в группе студентов с различными способностями и с персональной склонностью усваивать тот или иной материал, одолевая ту или иную художественную технику отрицательно скажется и на спешащих, и на отстающих. Черт знает что из этого получится!

Такой подход к методическому процессу обучения вызывал протест у и. о. доцента Сашки Вострикова. Он вел свой курс графики в той же группе, как и в других мастерских, и, вопреки установкам профессора Свежникова, выделял из всех студентов наиболее способных держать в руках карандаш, уголь, рейсфедер с тушью, тонкую кисть или острое перо.

Он внимательно, как будто даже ревниво, наблюдал во время своих занятий за студентами из «лаборатории малых талантов» и постепенно стал склоняться к тому, что его «материалом» здесь были увалень Матвей Наливайко и обе сестрицы Авербух. Остальные делали вполне терпимые, как он говорил, успехи. Что же касается этих трех человек, то тут у Вострикова не оставалось никаких сомнений в их предрасположенности к графике, чем к живописи как таковой. Он приглядывался к их работам и благосклонно усмехался.

Вся «лаборатория», в отличие от многих других студентов, называла его по имени и отчеству, а не «Сашкой».

– Александр Васильевич, – томно поднимала на Вострикова черные глаза Рая Тамбулаева, – а чем китайская тушь лучше нашей, обыкновенной? Почему вы всё время лишь ее ставите? Я вот и к нашей уже привыкла...

– У китайской туши, милая Раечка, – почему-то стесняясь, хмурился Востриков, – позади тысячелетия успеха, она аристократка по своей черной крови. Вот чем!

– И все же? – настаивала Сара Авербух, вскидывая зеленые глаза.

– Китайцы используют сажу, получаемую от медленного сжигания при особой температуре кунжутного масла, камфоры. К тому же употребляемая ими камфора добывается не искусственным, химическим путем, а из камфорного дерева, от Бога то есть. Это вам не окисление азотной кислотой борнеола. Смешивание кунжутной сажи и такой вот камфоры дело ответственное, если хотите, тонкое. Оттого удается цветовая насыщенность и особая жидкостная консистенция. Вот прихватите капельку китайской туши на изящный кончик колонковой кисточки и всмотритесь. В такой капельке особое натяжение, она не подчиняется гравитации, если хотите! Японцы, например, пишут на натянутом шелке, и ни одной помарки! Между прочим, это они унаследовали от китайских мастеров. А попробуйте-ка подобное сделать с нашей тушью, полученной химическим путем! Тут одна гравитация и есть... Никаких нервов не хватит!

Он посмотрел на притихших студентов из «лаборатории» Свежникова и, широко улыбувшись, спросил:

– А почему вы меня по отчеству кличете, друзья?

Все стали переглядываться, пожимать плечами, а Рая даже тихонько хихикнула и сама же испугалась этого.

– По имени давайте... Хотите, Александром? А можете и Сашкой. Я вам по секрету скажу, меня в действительности именно Сашкой и зовут. Так было записано моим отцом в метрике. Да! Да! Именно так! Сашкой. Это потом, когда паспорт выдавали, в милиции не согласились так же записать, а то, говорят, что выходит: Сашка Васильевич! Диковато для нас вроде... Так что, вы смелее! Графика к тому же – искусство смелых, терпеливых и мудрых. Она рассчитана на неторопливого наблюдателя, потому что не выпячивает себя, не орет во всю глотку, а шепчет свои интимные тайны прямо в трепетное ухо... она не стреляет в глаз... Не бойтесь дерзать... и не бойтесь дерзить, не держите себя за глотку, ни в чем, никогда! Авторитет не в имени, друзья мои, а в деле... А имя что!.. Имя – дрянь...

В Сашку очень быстро влюбились все три девочки. Юноши его искренне уважали за демократичность и за вроде бы естественную возрастную близость. Он был конечно же старше всех тут, но это не становилось помехой, потому что совсем не чувствовалось. Сашка боролся со своим возрастом очень просто – он его игнорировал, он его не носил, как носит впереди себя живот толстяк. Тем более, он был спортивен, худ, силен и по-своему красив, хотя вроде бы и залысина, и шея несколько морщит, и под глазами нередко повисают по утрам бледные

мешочки. Но его было за что любить женщинам и за что уважать даже в мужском коллективе! А это большая редкость на земле.

Украинский гигант Матвей Наливайко, необыкновенно ценивший немногословное и поэтому искреннее мужское общество, относился к Вострикову с очевидным для всех обожанием. Он смотрел на него украдкой своими несимметричными маленькими глазенками, и в то же время, приоткрыв рот, и старательно, высунув кончик языка, выводил на белом листе нечто очень дорогое для него. Востриков, остро чувствуя ранимость души этого великана, старался не заходить ему за спину, а отойдя на приличное расстояние и вытянув шею, разглядеть рисунок. Кисточка, которая была еле видна в огромной, одутловатой руке Матвея, ходила на удивление плавно, будто выделявала какие-то нежные па под одному ему слышимую мелодию. Наливайко выполнял задание на вольную тему, как и остальные, и возился со своей работой уже второй день. Востриков почему-то не посмел заглянуть в задрапированный тонкой калькой на мольберте рисунок, даже когда студенты ушли после первого дня работы. Ему показалось, что, сделай он это, и разрушится нечто очень важное и очень трепетное, созданное в душевных, творческих муках Матвея. А то, что это были муки, сомнений не вызывало. Наливайко подолгу всматривался в свой рисунок, покачивал большой головой и украдкой вздыхал. Издалека, от угла студии, разглядеть можно было лишь аккуратную, плотную штриховку, ложившуюся ровно на лист. Время от времени Наливайко оставлял на подставке кисточку, предварительно окунув ее в стаканчик с почерневшей водой, и брался за рейсфедер. Он сначала близко подносил его кончик к глазам, с волнением рассматривал, потом сдувал невидимые волосинки, отвернувшись в сторону от мольберта к окну и покосившись на остальных студентов, что молча сопели над своими работами, и аккуратно, будто выполнял некое тайное действие, окунал жало рейсфедера в крошечную чашечку, наполненную до половины густой маслянистой китайской тушью.

Свою первую работу, а это действительно была его первая самостоятельная работа на занятиях по графике, он молча понес к преподавательскому столу и несмело, краснея всем своим обычно бледным одутловатым лицом, положил перед Востриковым.

– Вот, Александр Васильевич, сделал, – сказал он виновато.

Матвей не смел по-другому называть Вострикова, и чувствовалось, что никогда так и не сумеет изменить себя.

Востриков бережно склонился над листом и медленно поднял на Наливайко глаза, потом опять опустил их к рисунку и вновь посмотрел на Матвея, снизу вверх, пригнувшись, не распрямляя спины.

– Нет, Наливайко, родненький ты мой, – очень строго проговорил Востриков, – это не называется «сделал».

Матвей отпрянул в сторону, еще больше залился яркой, почти алой, краской и испуганно поднес к горлу руки с испачканными просохшей китайской тушью пальцами. Он растерянно повел головой из стороны в сторону, как будто отрицая что-то, винясь и защищаясь.

– Нет, милый ты мой Наливаечка! – вдруг мягко заулыбался Востриков. – Это по-другому, братец, называется у нас. Сотворил! Вот как! Бог творил, и человек творит, уподобляясь Ему, потому что ощущает себя сотворенным по Его Божьему подобию. Человек и сам есть величайшее творение и в душу ему вложено то, что доказывает это, а руки... руки душу только слушаются. Кисть, тушь, бумага – лишь инструмент, приложенный к нам для раскрытия того, что вложено в человека, и умение найти тот крошечный каналчик, по которому просочится наша тонкая душа навстречу Богу, дано не каждому. А тебе, мой друг, дано!

Все тихо поднялись со своих мест и, словно любопытствующие тени, собрались вокруг преподавательского стола, потому что каждой из этих теней очень надо было знать, что дано гиганту Матвею от самого Бога и нет ли такого же дара и у них.

Матвей стоял чуть в стороне, заливаясь краской и переминаясь с ноги на ногу. Он опускал глаза, будто чувствовал вину за то, что, будучи недостойным и даже, как поговаривали шепотом еще при его зачислении на курс к Свежникову, жалким в своей доморощенной посредственности, вдруг не оправдал общих ожиданий и проявил на свет то, что могло быть понятным как хитрость и коварство. Никто не ожидал от него роста, кроме физического, данного от природы, а он вот взял и поднялся во всю свою величину, не сумев ее удержать или устоять, в конце концов, от того панциря, который на него, с его молчаливого мучительного согласия, когда-то надели еще в юности. Это казалось ему бесчестным с его стороны, неприличным. Оттого и краснел, оттого и переминался с ноги на ногу этот гигант, никогда не употреблявший и не вдумывавшийся в слово «интеллигентность». Он и не знал, что многое, что не произносится вслух, тем не менее существует, и, более того, оно и составляет истинный образец понятия, чистота которого недостижима для многих людей с хорошо подвешенным языком.

На листе Матвея Наливайко был изображен поверженный ниц огромных размеров молодой волк и собравшаяся вокруг его уже остывающего тела свора разновеликих охотничьих псов. Две некрупные особи трусливо вытянули вперед носы, прижали к голове уши, пружинисто уперлись лапами в землю и внюхивались в ускользящую жизнь мощного, но уставшего от погони и от последнего боя дикого врага. Крупный пёс, гордо и нервно, всё ещё не отойдя от истерики погони, задрал кверху морду с оскаленной пастью и выл, призывая сюда посланных его людей. Еще несколько бойцов из пёсчей своры, не в силах успокоиться, скалились друг на друга, а одна пара уже сцепилась в злобной драке – извивались их тела, хищно обнажались клыки, ненавистью и страхом светились взбешенные глаза. Остальная часть своры безучастно стояла в стороне и как будто пятилась назад и от мощного тела поверженного врага, и от нервных бойцов, загнавших его, и от ликующего жоака.

Глаза у волка были прикрыты, а из уголка одного стекала на песок полновесная маслянистая слеза, в которой отражался свет заходящего солнца. Слезка была прорисована Матвеем так тщательно, что она казалась главным фрагментом всей графической композиции. К ней притягивалось внимание, и только через нее понималась вся трагедия происшедшего. И повернутая вбок голова, и язык, бессильно выскользнувший из ощеренной пасти волка, и ослабленные смертью огромные его лапы, и бессильно лежащий, ободранный в последнем бою хвост – всё только окружало ту слезу, заключая ее в центр рисунка. В дальнем, перспективном, верхнем правом углу, на вершине небольшого холма уже маячили фигурки людей, спешащих к своре. Они были нужны лишь для того, чтобы доказать: любая свора имеет своих хозяев и ее жестокость идет от собственной ее трусости, от ужаса перед вольнолюбием похожего и не похожего на нее одинокого и сильного духом врага. Поэтому люди были выписаны намеренно дымчато, серо, в клубах опускающегося вечернего тумана. Они были, казалось, неглавными в этом сюжете, но они были и самыми важными в том, что разделяло между собой погибшего гиганта и ликующую свору. Это объясняло всё.

Однако же в центре события всё же была та самая огромная слеза, в которой неумолимо отражался вечный солнечный свет.

Студенты «лаборатории малых талантов» оторопело стояли вокруг картины, как та самая свора вокруг волка, и подавленно молчали. Они медленно повернули головы к Матвею и вдруг увидели, как из одного его глаза вытекла слезинка – то ли от волнения, то ли оттого, что он занес в него сор, то ли оттого, что он последние дни болел, простыв в общежитии у не законпаченного на зиму окна, где стояла его скрипучая кровать.

– Ты что, Матвейка! – вдруг воскликнула Женя Авербух и, приподнявшись на цыпочках, нежно сняла пальчиком с его щеки слезу. – Всё же очень здорово! Это нам впору плакать, а не тебе.

Востриков подошел к Наливайко и несколько раз легонько похлопал его ладонью по огромному, сильному плечу. Потом он покачал как-то уж слишком печально головой и отвернулся, отмахиваясь от чего-то в своих мыслях.

– Надпиши... – сказал он с хрипотцой в голосе.

Матвей растерянно пожал плечами, потом быстро, необыкновенно для его флегматичного нрава, вернулся к своему месту и так же быстро пошел назад, неся в руках остро заточенный грифельный карандаш. Он нагнулся над своей работой и, не обращая уже внимания на склоненные за его спиной головы студентов, быстро вывел в правом нижнем углу рисунка: «Ужгород. Загон Зверя». Слово «Зверя» с заглавной буквы. Потом подумал секунду-другую и криво, также криво, как были посажены на его широком лице глаза, вывел инициалы: «М. Н.».

– Всё, – с облегчением выдохнул он, будто только этого окончания сам и ожидал.

Востриков кинул взгляд на надпись и понимающе покачал головой.

Профессору Свежникову о более чем удачном опыте Матвея Наливайко в графике стало известно от своих студентов из «лаборатории» почти сразу. Он искренне удивился этому и не кинулся к Вострикову с просьбой немедленно показать ему работу Матвея лишь из-за застарелой неприязни к коллеге. Но на одном из советов, на котором обязательно присутствовали все преподаватели, он вслух напомнил о том, что к успехам Наливайко и он имеет некоторое, педагогическое, отношение.

– Вот ведь, – сказал Свежников, ничуть не смущаясь. – А вы говорите «генетика». У всех она своя... Даже у деревенского увальня она имеется. Но не разгляди я тогда за той его невинной посредственностью восприимчивую натуру, не надави я на приемную комиссию, не удели я ему своего педагогического внимания, и не было бы теперь повода к восхищению. А вот покажите нам, Александр Васильевич... извините, что я вас не Сашкой зову, не привык, видите ли... Матвееву работу.

Свежников огляделся вокруг себя, ища поддержку в лицах коллег, особенно когда упоминал о манере обращаться к Вострикову.

– Ничего, Максимилиан Авдеевич, – криво усмехнулся Сашка, – вам и не нужно меня иначе, чем официально величать... это привилегия для младших и слабых, чтобы они себя сильнее и вольнее чувствовали. А вот что касается работы Матвея Наливайко, так вот она.

Он распахнул огромный планшет, который принес с собой и с самого начала поставил у ног, все время придерживая за связывающие его тесемки. Все поднялись с мест и, гремя стульями, собрались вокруг работы. Востриков горделиво улыбался, хитро, лукаво поглядывая ни лица коллег. Послышался неясный говорок, какой бывает лишь на выставках и в музеях около редких экспонатов, и потом всё затихло.

– Ну как? – почти выкрикнул Востриков. – Генетика или педагогика! А? Максимилиан Авдеевич!

– И то, и другое, – почему-то нахмурился Свежников. – Генетика – не наша с вами вина и не наша с вами заслуга. От нас только педагогика зависит...

– Или ничего не зависит, – рассмеялся Востриков, и очень многие вокруг тоже стали усмехаться. – Разве что самая малость. Чему бы тут, скажем, учили молодого Леонардо? Или Пикассо? Чему? Как делать всё по правилам? А не они ли этими правилами и являются? Для меня вот сельский паренек Матвей Наливайко куда больший пример, чем десятки измеренных и очерченных методистами работ в наших с вами учебниках. Он ведь до этой науки пока и не дошел, второй курс всего... И хорошо! А то дошел бы и всё тут! Чужие правила, чужие мысли, чужие чувства... Правильные, но чужие! Как бы он тогда слезинку ту выжал? Она из его глаза вытекла, вот откуда. Генетика!

Он запахнул планшет и, связывая бантиком тесемки на одной из его сторон, закончил еле слышно:

– Сейчас бы Леонардо или Пикассо, или Ван Гог с Эль Греко народных художников дали, в Союз бы приняли! Держи карман шире! В лучшем случае по частным виллам бы растащили...

– Вы что хотите этим сказать! – возмутился, краснея, Свежников, расслышав все же Вострикова. – Вы на кого намекаете, я вас спрашиваю?

– Ни на кого я не намекаю, когда вспоминаю такие имена. Не надейтесь, профессор!

Вот тут уже не сдержались многие: раздался смешок, заставивший Свежникова вздрогнуть и раздраженно оглянуться вокруг себя. Смешок сразу увял.

– Это всё потому, коллега, – чуть успокоившись, однако же желчно парировал профессор, – что вы и сами лишь на свою генетику можете рассчитывать, а не на образование. Я ни в коем случае не имею ничего против архитектурного обучения... поймите меня правильно... но всё же это – другая специальность, другая, так сказать, муза... Вам и не понять, что значит, воспитать художественный талант там, где этот талант и должен воспитываться, в профильном учреждении, если хотите. Да! В профильном!

– Профиль и анфас тут ни при чем, – совершенно спокойно, без тени обиды или даже возмущения, ответил Востриков. – Тут дело в душе. Или она есть, или, извините... ее надо искать... Вот тогда нужны эти ваши педагогики, методики... Я не против того, что студентов следует учить на классических примерах, прививать им определенный вкус, доказывать... да, да... доказывать преимущество классических форм перед безвкусным новоделом. Повторяю, доказывать! Но надобно и уметь сдаваться перед временем, перед свежими нравами, перед ними, в конце концов... потому что они, хотите вы того или нет, и есть будущее, а мы с вами, вместе со всей нашей классичностью, с нашим «здравым консерватизмом», безнадежное прошлое. Безнадежное, прошу заметить! И вот вам доказательство!

Он осторожно, будто боялся разрушить что-то, похлопал ладонью по планшету.

– Слеза волка! – добавил он негромко со значением. – Ни в одном учебнике ее нет! Хоть обчитайся! Слеза мертвого врага! Ему бы салют посмертный, а ведь обяжут лапы на сук и понесут шкуру сдирать. К ногам бросят и станут топтать... Хвастаться будут трофеем. Вот вам и педагогика, вот вам и классика наша. Везде она и во всем! Москва, видишь ли, слезам не верит! А я верю! Верю! И в генетику верю... Только потом уже в педагогику... Основа – генетика, остальное – от лукавого... остальное – политика и вполне может оказаться мерзостью. Как шкура под ногами...

Матвей Наливайко пришел к профессору Свежникову на кафедру, опустив глаза, и долго не мог вымолвить ни слова.

– Ну, что, дорогой ты мой талантище, молчишь? – вздохнул устало профессор. – Уходить собрался?

– Да я... – испугался прозорливости профессора Матвей, – да я вообще... я могу и так... факультативно...

– Не можешь! – покачал головой Свежников. – Да и я не позволю, братец. Уходя уходи... Слыхал такое?

Матвей неопределенно кивнул и медленно развернулся. Он целую неделю не появлялся на занятиях в училище, а все лежал на продуваемой всеми московскими ветрами кровати и о чем-то с печалью в маленьких своих глазках думал. С постели его буквально сорвал необыкновенно осерчавший Востриков. Он приехал в общежитие и, не произнося ни единого слова, сбил сильной рукой согнутые в коленях ноги Матвея на пол.

– Ну, чего разнюнился! – сказал он строго. – Переведен ты. Ко мне. Побились за тебя... а ты тут... завтра быть на занятиях! Я с тебя шкуру спущу, как с того волка спустили! Понял! И еще запомни – Москва действительно слезам не верит! Она за их счет живет.

Вот так «лаборатория малых талантов» стала еще меньше – на одного большого, крупного человека. Полку прибыло лишь у Сашки Вострикова, чем он тайком гордился, потому

что это была двойная победа: и Свежников потерпел неудачу, упустив талантливого, как обнаружилось, ученика, и у Вострикова прибавилось на одну почти лошадиную силу. Все так и говорили. Между профессором и «и. о. доцента» окончательно устоялась холодная война, а она всегда носит более затяжной характер, чем любая «горячая».

Постепенно в училище эта история забылась, и всё потекло, как и прежде, что для малых, что для заметных, больших, талантов.

Еще одним событием в практических работах у Вострикова стала общая работа сестриц Авербух. Востриков их так и звал, а следом за ним и все остальные, не исключая профессора Свежникова: «сестрицы Авербух».

Востриков, наблюдая за девушками с того самого момента, когда они независимо друг от друга на спорном конкурсе при поступлении нарисовали одни и те же геометрические фигуры, решил не разделять их и в виде исключения поручил им делать одну общую работу. Такого в училище еще не было, но не было и таких сестриц, кои не просто дополняли одна другую, а жили в абсолютно параллельном мире, который лишь потому не сливался окончательно в одну плоскость, что они не были похожи друг на друга внешне.

– Это же «сиамские близнецы»! – незлобиво посмеивался Востриков. – У них слитые души, но отдельные тела. А ведь бывают же и «сиамские близнецы», имеющие общее тело и две головы да четыре руки, а в характерах различные, даже антагонистичные. Один флегматик, другой сангвиник или холерик. Вот где мучения-то! А тут же счастье прямо! Почти одна личность, да какая! Добрейшей души личность, чистая, ясная, прямая... и ведь талантливая. Это не один талант на двоих, это – два таланта в одном. Уникальнейшее явление!

Сестрицы Авербух выбрали для первого графического опыта как раз изображение «сиамских близнецов», танцующих мазурку, потому что обратились к восемнадцатому веку во Франции. Это был удивительный по своему доброму, ироничному настроению рисунок.

Вот за ними Востриков наблюдал откровенно, часто стоя у них за спинами и видя, что они этим нимало не смущаются.

– Мы привыкли, – сказала Сара, не оборачиваясь, – папа постоянно торчит у нас за спиной, даже засыпает там. Он такой смешной! И лицо у него совсем необычное...

– Какое такое необычное? – спросил Востриков.

– А вот такое... – засмеялась Женя, не отрываясь от работы и старательно выводя свою часть рисунка на большом белом листе, закрепленном на планшете, а тот, в свою очередь, стоял на мольберте высотой более чем полтора метра. – У него один глаз зеленый, а другой – черный аж до синевы. Волосы на голове тоже черные, а на теле, на груди и вообще... рыжие. Тело у него худое, а ножки коротенькие, и ручки... зад крупный, тяжелый. Вот такой красавец. Он любит, когда мы его рисуем и всегда говорит...

Тут ее очень спокойно, словно просто продолжила свою собственную мысль, перебила Сара:

– ...«Один образ – три человека. Большая экономия! Красок меньше уходит и времени втрое меньше! Уже на одном этом можно было бы иметь деньги!»

Девочки задорно рассмеялись в голос и тут уже обернулись на Вострикова, который сначала никак не мог понять, почему «один образ – три человека», но, сообразив, что портной Авербух намекает на то, что он один расщепился на двух дочерей в своей необычно синтетичной внешности, тоже расхохотался.

– У вас веселый отец, как я погляжу, – отсмеявшись, проговорил Востриков.

– Нет, – покачала головой Женя, – у нас серьезный отец. Он шутит редко и всегда только над собой. Он не может позволить себе расслабиться ни на день!

– Это почему же? – заглянул в глаза Жене Востриков, чуть согнувшись над ней, но услышал ответ от Сары.

– А потому, – сказала веско Сара, – что у нас очень красивая мама. Красивей не бывает. Мы ее даже рисовать боимся. Всё испортим. И вот представьте себе... Александр... м-м-м, Сашка то есть, извините... можно так?

– Можно, можно... я же говорил. Меня так и зовут... по метрике, – торопливо ответил Востриков, желая услышать окончательный ответ от сестриц.

– Ну вот, – неторопливо продолжила Сара, – представьте себе, как ускользнет из папиной жизни его жена, наша мама, если он зазевается.

– Что такое! – оторопел Востриков. – Как так! Это кто ж такое говорит?

– Мама, – спокойно произнесла Женя и чуть отодвинулась от мольберта, оценивая свою часть работы.

– А папа! Папа с этим согласен? – искренне удивился Востриков.

– Ему деваться некуда, – ответила Сара. – И ему это нравится. Это, он говорит, как постоянный тонус для спортсмена. Быть при силе, при славе, при деньгах и при любви. Закаляет все мышцы сразу.

– И вы тоже так думаете? – начал уже было раздражаться очевидным цинизмом того, что слышит, Востриков.

– Нет, – вздохнула Женя, – мы так не думаем. Папа у нас «ходок», между прочим, а мама – домоседка. Она, как кошка – тихая, мягкая, урчит только.

– Так папа еще и... как вы сказали... «ходок»? Боже, чего только не увидишь в этой жизни!

– Мы же говорим, – миролюбиво кивнула Сара. – Он постоянно должен быть в тонусе.

Востриков покачал головой и, не зная, что сказать еще, отошел. А сестрицы продолжали вершить свое тонкое графическое дело: одна из них рисовала у танцующих «сиамских близнецов» голову, удивительно похожую на голову ее сестры, так же поступала и вторая. Потом одна из них выписывала складки наряда, в котором танцевало одно общее тело, а вторая, высунув кончик языка, старательно прорисовывала ноги, руки. Потом каждая из художниц взялась за свою половину зала, которая совершенно точно, как в зеркале, отражала противоположную. Это всё было очень забавно, очень остроумно и делалось легко и талантливо, без единой помарки, как с правой, так и с левой стороны. Они вообще не обсуждали между собой то, что делали, и добивались при этом полной симметрии. Сестрицы Авербух были искренни во всем и даже в том, как непринужденно они доверяли свой уникальный мир любому, кто заглянет в их общий рисунок.

Они сдали рисунок чуть позже других, почти сразу за плачущим волком Матвея Наливайко. И точно так же студенты собрались вокруг их листа и стали с улыбками рассматривать изображение. Одна из сестер, кажется Сара, надписала внизу рисунка на глазах у всех: «Менуэт на двоих». Вторая из Авербух добавила: «Сестрицы А.». Все дружно зааплодировали.

– Вот тебе и «лаборатория малых талантов»! – воскликнул Востриков.

Профессор Свежников расстроился, услышав об успехе еще двоих студенток из своей мастерской.

– Ну, что ж, барышни, – печально покачал он головой, – и вы вздумали бросить наш дом?

– Ну, что вы, дорогой вы наш Максимилиан Авдеевич! – хором, искренне воскликнули сестрицы Авербух. – Да как вы могли только такое подумать!

Профессор даже прослезился как будто от такой горячности своих учениц и отчаянно замахал руками. Он был удовлетворен.

Однако как бы он почувствовал себя, если бы сумел предугадать последствия этой своей победы над настырным Сашкой Востриковым? Если бы понял, какие неприятности принесут ему эти две забавные барышни, обладательницы одного на двоих искристого, легкого и удивительно изящного таланта?

Вообще, профессор считал, что талант – конструкция монолитная, тяжелая, и ее не в состоянии поднять слабые ручки людей, как он полагал, легкомысленных. Он не помнил таких примеров, как Моцарт, Пушкин или даже Модильяни, особенно в те годы его творчества, когда тот был наиболее безрассуден по отношению к себе, к своему окружению, упрям, напорист и совершенно нелогичен. Профессор не помнил или не придавал этому значения. Поэтому любое внешнее легкомыслие своих учеников он считал той самой компенсацией, которую природа даровала им вместо серьезного весомого таланта, каким, на его взгляд, обладал он сам.

Картины и полотна самого профессора Максимилиана Свежникова всегда считались образцом классического отображения мира. Он никогда не склонялся к политическим трактовкам своего творчества, противился даже такому обязательному в свое время жанровому определению, как «социалистический реализм». Однажды он где-то высказался, что, мол, реализм может быть только реалистичным, но никак ни социалистическим, ни тем более капиталистическим (что еще смешнее!), как не может быть феодальным или рабовладельческим. Реализм, на его взгляд – это осознанный, наполненный нравственным чувством натурализм.

Его тогда мягко поправили, и он повинулся. В доказательство своей лояльности Свежников пошел в «народ» и вернулся оттуда с десятком светлых, желто-лазоревого, радостных полотен. Выписаны они были мастерски, с классических композиционных оценок – безукоризненно, но, скажем, на дальней перспективе за милой рязанской деревенькой с ее озерами и березовыми рощицами непременно выросла кран, или полз трактор с красным флажком, или мелькала на чем-то очень заметном алая звездочка. Не признать, что всё это придавало картине «шарм социалистичности», было невозможно.

Самыми заметными полотнами в этом смысле стали его работы поистине талантливые, изображающие почти прометеев труда на одном из уральских металлургических заводов, – признанные многими и выдержавшие несколько выставок в Венгрии, Чехословакии и даже в Бельгии. Это была очень убедительная изобразительная диалогия о рабочих у доменной печи в старом цеху в дореволюционный период русской истории и в том же цеху в советский период. Разница замечалась не столько в технике, которая, вообще-то, десятилетиями не менялась и десятилетиями же угнетала этих людей своей могучестью и тяжестью, сколько в лицах. В первой картине (от предреволюционной истории) старый, белоусый и закопченный рабочий косил недобрый взглядом на холеного, заносчивого мастера или, быть может, даже хозяина (уж очень он был холеный и одет как-то не по цеховым правилам), и угрожающе держал в мускулистых руках какой-то длинный, по-видимому, нестерпимо горячий прут. На второй же картине такой же белоусый пролетарий (по-видимому, сын того, с первого полотна, так он был на него похож!) поглядывал на какого-то молодого мужчину в чистой спецовке с отеческим доверием и даже с симпатией. В руках же он держал точно такой же прут, который совершенно очевидно сжег бы его ладони, если бы они не были упрятаны в огромные брезентовые варежки.

Все остальное вокруг этих рабочих убеждало в том, что картины посвящались одному и тому же цеху. Получалось, что реализм был лишь в интерьере, а красило его в революционные цвета, то есть преображало в «социалистический», несколько важных деталей: взгляд обоих рабочих, угнетатель-мастер или хозяин на первом полотне и молодой специалист-современник на втором; отсутствие спасительных варежек на революционной картине и их наличие в наши светлые дни. Это и был тот самый «социалистический реализм», в котором по своей еще юношеской горячности художник Максимилиан Свежников дерзнул усомниться.

Потом было много успехов, как на поприще творческом, так и в сопровождающей то самое творчество общественной карьере. Пришла слава, известность, признание, материальные средства, расширялись мастерские, двигаясь всё ближе к центру Москвы, и вообще, жить стало лучше, жить стало веселее. Реалистичнее с социалистической, жанровой, точки зрения, стало жить!

По этому поводу сейчас, конечно, каждому вольно иронизировать, можно вспомнить, горячась, «бульдозерную» выставку с ее «не нашим» абстракционизмом, и спившихся, либо сбежавших на Запад «несоциалистических» реалистов и грубиянов-натуралистов, но отрицать того, что и тот период был славен своими мастерами, которых не испортил, а многих даже и воспитал постреволюционный жанр, никак нельзя. Максимилиан Авдеевич Свежников относился именно к этой достойной когорте. Несомненно!

А по количеству выставленных картин, всех размеров, колеров и тематики, с ним не мог сравниться не только какой-нибудь обыкновенный плодовитый художник, но и даже вся вместе взятая самая талантливая и признанная часть Союза художников страны, органа весьма конфликтного и злопамятного.

С уходом «социалистических» жанров творчества в стыдливо скрывающееся прошлое профессор Свежников сначала растерялся и даже несколько опустил: он перестал выглядеть Первым Петухом в большом хозяйском курятнике, не часто появлялся на мятежных теперь заседаниях Союза, стал немногословен и даже сух в своей преподавательской деятельности в училище. Однако со временем он, пересмотрев очень немного в своем творчестве, решил, оставив всё там почти без изменений, начать новую социальную карьеру.

Выглядело это в его творческом сегменте так: со старых полотен, которые он сумел с трудом собрать в своей мастерской на Верхней Масловке, исчезли признаки узнаваемого прошлого, то есть были заново прорисованы те фрагменты, где раньше реяли красные флажки или лозунги, в лицах героев появились новые хищные черты времени, обновились трактора, ползающие на заднем плане по встревоженным полям. Например, его знаменитая диалогия преобразилась в свою противоположность, а для этого он лишь внес коррективы в выражение лиц белоусых металлургов, в первом случае одел натруженные руки рабочего в варежки, а мастера или хозяина превратил в большевика с красной повязкой на руке. В первой картине лицо белоусого рабочего осталось прежним, но косился он уже не на эксплуататора, а на того, кто лезет в его рабочую душу с диктаторской идеологией. На второй картине лицо рабочего уже изменилось – из добродушного, доверчивого оно превратилось в раздраженное, мстительное, а вот молодой специалист за спиной рабочего остался прежним. Таким образом, «социалистический реализм» в этих своих осовремененных формах нисколько не понес урона. Даже, напротив, доказал свою тончайшую управляемость: оказалось, что достаточно внести коррективы в выражения лиц и пририсовать алую повязку на руку вчерашнему эксплуататору и всё меняется на противоположный знак с идеальной точностью.

Дела Свежникова вновь пошли в гору, что не замедлило отразиться и на восторженных критических отзывах. Профессора пригласили к сметливому московскому руководству и щедро обласкали. У него появилась еще одна гигантская мастерская в Староконоушенном, которая очень скоро превратилась в солидный художественный салон, ремонтирующийся и обставляющийся за счет того же самого московского бюджета. Были, правда, завистники, недоброжелатели, да и многие газеты выражали свое недоумение по поводу загадочной щедрости московских властей, но, как любил говаривать Свежников: «Собака лает – караван идет».

Поддерживали финансовую сторону жизни Свежникова в наибольшей степени, прежде всего, государственные заказы на росписи панно и фресок в крупных общественных центрах, даже в соборах и восстанавливаемых церквях. Вот тут Свежников выставял вперед свою «лабораторию малых талантов», поручая в основном старшекурсникам за небольшие гонорары оформление почти всех фрагментов таких панно. Он и готовил их с самого начала для этого дела, поэтому и подбирал самых «бесперспективных» еще при их поступлении в училище. Профессор разработал собственную методику обучения, направленную именно на такую «командную» работу. Свежников вполне справедливо полагал, что любой самодостаточный талантливый художник рано или поздно взбунтуется и потребует воли для себя, станет настаивать на своем собственном стиле и вполне может испортить общее впечатление от какого-

нибудь гигантского художественного заказа, прорисовав свои фрагменты так, что они притянут внимание зрителя и изменят всю профессорскую концепцию. Поэтому уход, например, Матвея Наливайко для профессора Свежников был прагматичным сигналом к тому, что следует тщательнее отбирать студентов в свою «лабораторию», но к тому же и принес профессору облегчение, потому что, не вмешайся в это дело Сашка Востриков, неизвестно, чем всё могло бы кончиться. Скорее всего, бунтом гиганта Наливайко и каким-нибудь нехорошим скандалом. Тихий омут и черти в нем... Вот что это было!

Профессор стал пристальнее приглядываться к сестрицам Авербух – а не опасны ли они так же, как Наливайко? Но их искренность, легкость, доброжелательность во всем успокоили его.

Востриков обо всем этом знал, потому что здесь не требовалась особенная пронизательность, тем более, это было известно всем, вплоть до ректора училища. Но профессор Свежников держал всех тут на коротком поводке, потому что ни одно бюджетное отчисление в Художественное училище из московской казны не производилось без консультации с ним. Через него негласно утверждались и заведующие кафедрами, мастерскими. Максимилиану Авдеевичу в тиши богатых кабинетов в столичном руководстве не раз предлагалось заменить собою ректора, но он видел в этом для себя определенный риск и неудобство. Будь он на этой должности, пришлось бы ограничить свое влияние Художественным училищем, да еще нести за всё, как принято было выражаться, персональную ответственность. Сейчас же он пребывал в училище в чине незаменимого оракула по совместительству с авторитетным влиянием на куда большее пространство – на формирование бюджетов в области культуры столицы, на контроль за крупными заказами, на определение новой творческой стратегии не только в Москве, но и в государстве в целом. Он справедливо считал, что ректорское кресло от него никуда не уйдет и по существу, в самом удобном смысле, оно под ним и находится.

Единственное, на что согласился скромняга Свежников, да и то после продолжительных уговоров, так это на то, чтобы принять на себя почетную полуофициальную должность личного советника по культуре главы города. Однако и тут без его подписи ни один рубль из казны не уходил. Советник, он же главный эксперт Совета по культуре, решал, на что следует тратиться в искусстве и в монументальном украшении столицы, а что может и подождать. Очень многие суетились вокруг столичного любимца, очень многие готовы были дать отсечь себе палец лишь за то, чтобы получить по его милости кусочек от бюджетных средств на свое прибыльное дело. До таких жертв дело не доходило, но конкурс тем не менее был жестокий. Приз всегда делили на несколько неравных частей, большую часть которого профессор отдавал выше, почти равную с ней оставлял себе, а остатки делили победители того тайного конкурса.

Так что, как видно, дела действительно шли.

Свежников давно бы стер в порошок смутьяна Вострикова, но житейский опыт подсказывал ему, что без иного полюса, пусть даже ослабленного (и это конечно же лучше, что ослабленного!), конструкция не выдержит, даст крен и в конце концов распадется. Единственное, что требовалось, так это держать мятежника в узде и не выпускать его за пределы училища. Востриков, собственно, и сам не стремился туда, где хозяйничал с наивысшего соизволения Свежников, но контроль над ним был необходим. Жизнь не раз доказывала Свежникову, что самые неприметные, самые скромные личности рядом с ним вдруг выскальзывают из-под контроля и потом отнимают много сил на их подавление и даже на растерзание, если дело дойдет до этого.

Из студентов второго курса в «лаборатории малых талантов» Максимилиан Авдеевич выделил выходца из семьи известных монументалистов, в основном скульпторов, Гарика Семёнова. Его дед состоял со Свежниковым в столичном экспертном совете, а отец занимался распределением государственных заказов на крупные монументальные проекты. Имел свою долю в этом деле и отец Эдика Асланяна – небезызвестный в столице предприниматель Гермес.

Многие средства содержались в его двух банках, а часть мастерских и салонов, в которых работали нанятые под эти проекты художники, принадлежали ему.

Свежников не лез во взаимоотношения между родом Семеновых и родом Асланянов. Они сами решали свои проблемы и дружно, мирно объявляли о достигнутых соглашениях Максимилиану Авдеевичу. Он же выносил это на суд первых столичных боссов и после короткого обсуждения за плотно закрытыми дверями ставил свою подпись на очень дорогостоящие документы.

Гарик Семенов уже руководил небольшой группой студентов, занятых заказами от Свежникова, а Эдик Асланян участвовал на правах его товарища в оформлении важных фрагментов в коммерческих заведениях, куда неожиданно поступали столичные бюджетные средства.

И тот и другой были в меру способными молодыми людьми, мечтающими о собственной творческой карьере, но, имея перед глазами такой пример, как их родители, как профессор Свежников, готовы были набраться нужного терпения и ждать своего часа. Это удовлетворяло Свежникова, хотя и несколько беспокоило из-за их молодости, а значит, и большей продолжительности жизни в сравнении с отпущенным ему временем. Но детей, внуков, племянников у него не было, а потому приходилось на кого-то опираться и доверяться кому-то молодому и сильному.

В общей сложности в его «лаборатории» обучалось сорок семь человек. Они тоже выстраивались Свежниковым по ранжиру – «комиссары» и исполнители. Никто не оспаривал общее руководство, исходившее от Гарика Семенова и, частично, от Эдика Асланяна.

На одной из устроенных профессором Свежниковым дружеских (и воспитывающих, по мнению профессора!) встреч со студентами своей мастерской, он, мягко улыбаясь и даже время от времени демократично балагурия, сказал:

– Вот вам и долгожданное возвращение чудесного нашего прошлого, нашей боевой молодости, светлых мечтаний старых, проверенных бойцов: да здравствуют комсомольские строительные отряды! Сколько сделано было нами... дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Вот и пришел заново приказ... на запад, а то, может быть, и в противоположном направлении. Это не нам с вами решать, как и раньше не мы решали! Но то, что вы все теперь объединены в один, можно сказать, почти комсомольский студенческий отряд, комиссарами в котором наши с вами общие любимцы Гарик Семенов и Эдик Асланян, уже говорит о том, что не все старое следует корчевать... Ну, не будут сейчас называть эти новые стройотряды комсомольскими! Да что ж с того! Суть-то остается прежней! Так что, дерзайте, молодые! Покажите себя!

Сестрицы Авербух очень удивились услышанному. Они засмеялись слитно, будто в один голос.

– Да как же дерзать, если не знаем, куда и зачем, Максимилиан Авдеевич! Не то на запад, не то на восток... Мы-то дерзнем! Да понравится ли?

Максимилиан Авдеевич опять с испугом, как это уже было однажды, посмотрел на сестриц, но они так искренне рассмеялись, что он успокоился. Ну что, мол, с них взять! Глупышки милые! А поручить им можно многое – в четыре руки горы свернут.

Замечание Свежникова о том, что возрождается традиция так называемых «комсомольских строек» была основана не на пустом месте. Дело в том, что накануне он присутствовал на одном из заседаний влиятельной партии, стоящей у власти или делающей вид, что стоит там, и крупный чиновник из самого Кремля авторитетно заявил: решение о возрождении такого молодежного течения принято на самом верху. А то прямо-таки не знают, чем занять нашу юность, которая уже устала от постоянных соборных митингов, выездных демонстраций и шумных летних лагерей. А тут, пожалуйста! Работы сколько душе угодно! Не готово, правда, еще ничего для этого, заявок серьезных как не было, так и нет, потому что государство стало другим, и теперь до этого руки не доходят (совсем другие, мол, заботы!). Но всё же, вещал чиновник – человек, между тем не старый, но в свое время в комсомольских отрядах преуспев-

ший и в зарботке, и в карьере, – как видно, откроются новые энергетические ветки, которые надобно тянуть аж до Китая. А это не шутки! Раньше, не то сокрушался, не то просто констатировал чиновник, работали за идею, на государство, теперь же заказчик частный. Правда, заметил он, тоже ценный, потому что тому же государству это нужно. И раньше-то люди не знали, как именно распределялись доходы, так чего им теперь надобно знать!

Свежников вспомнил, что комсомольские отряды не только железнодорожные ветки и газовые трубы прокладывали в его молодости и зрелости, но и в реставрационных работах участвовали, пусть в качестве дешевой рабочей силы, но дело-то делали! Он прямо на совещании, пользуясь особым расположением столичного начальства, взял слово и предложил: мол, пока нет прямо поставленных задач, не попробовать ли ему занять своих студентов на росписи двух крупных соборов и одной частной технической выставки? И опыта, мол, наберутся, и пользы, даст бог, принесут. Это было принято немедленно всеми, и чиновник, перемигнувшись с градоначальником, предложил даже выделить новые бюджетные средства на это начинание, а профессора Свежникова назначить главой комитета или комиссии по возрождению удобного для всех течения. Дадут и студентам заработать копеечку, и сами в стороне от прибылей конечно же не останутся. А как важно это с идейной точки зрения!

На следующий день, очень кстати, профессору Свежникову присвоили звание член-корреспондента Академии художеств и пообещали, что в самом начале будущего года его изберут академиком. А это крайне важно, считали в верхах, потому что возрождающиеся отряды нуждаются в авторитетах.

Чиновник рассмеялся, с наглостью глядя в глаза:

– Молодых прохиндеев там хватает, нужны и старые.

Надо бы было обидеться, но столичное начальство предостерегающе сжало губы. Обиду проглотил и постарался быстро ее забыть. Какой в ней толк, если она, кроме неприятностей, ничего не принесет? А дело понравилось, во всех отношениях оно работало на него.

Потому-то и балагурил весело профессор Свежников со своими студентами. И еще он рассчитывал на то, что не только его птенцы примут участие в работах, потому что это дело заразительное, доходное для многих.

И он не ошибся в расчетах: в стройотряд полетели заявления от студентов и из других мастерских, даже из мастерской и. о. доцента Вострикова. Но выходцев оттуда брали на особых условиях: только неквалифицированная занятость, соответственно и оплачиваемая. Это была своего рода показательная месть мятежным умам: надо знать, с кем общаться и на кого надеяться в будущем. И делать для себя выводы, пока не поздно!

Востриков ходил печальный, а Свежников с лукавой усмешкой, так, чтобы тот слышал, вопрошал громко:

– Не в лыко новое государственное дело некоторым? Индивидуализм давит на социальное сознание? Генетика, видишь ли, протестует... А по мне, так ретроградство это! Причем странное какое-то: без оборота к здравому консерватизму. Очень уж эгоистичное, очень уж сомнительное!

Это было уже почти политическое обвинение. Востриков краснел от возмущения, но ничего не отвечал. Его студенты, нанимавшиеся в профессорский стройотряд (его так и называли – «профессорский стройотряд»), прятали от Вострикова глаза, будто чувствовали, что предадут его, но шли все же: денег на жизнь не хватало, и это бытовое явление становилось всё острее и оттого всё горше.

Матвей Наливайко, тужась от финансовых сложностей, все же удержался от соблазна. Он в глубине души страдал из-за явного конфликта между двумя своими кумирами, а ведь оба сыграли в его жизни позитивную роль, без того и другого он не ощутил бы себя сильным, умелым. Не копошились бы идеи в его голове, зовущие вперед, наверх, а были бы только самые мелкие, лишь удерживающие на плаву в затхлом прудике старых самооценок. Но и demonstra-

тивное пренебрежение Свежникова к Вострикову он тоже стерпеть не мог. Ему казалось, что он, Матвей Наливайко, мостик на той дороге.

Таких страдальцев, как Наливайко, было еще несколько. Они не были раньше в мастерской у Свежникова, но, так или иначе, конфликт затягивал и их в свой гнойный оборот, потому что зависели они от Свежникова во многом, а Вострикова искренне уважали и ценили.

Так в Художественном училище образовались два теперь уже устойчивых, антагонистичных центра, две враждебные фракции, которые не видели никаких шансов примириться друг с другом. Это сказывалось и на взаимоотношениях студентов. Казалось, что внутри училища кто-то невидимый протянул провод высокого напряжения и к тому же оголил его. Знавшие об этом опасном проводе старались держаться от него подальше, но образованное им электрическое поле серьезно влияло на их нервную систему, не давая покоя ни на минуту.

Страдали от этого и сестрицы Авербух. Они не скрывали своих чувств и даже часто обращались то к Свежникову, то к Вострикову с мольбой прекратить ненужный конфликт. Востриков упрямо молчал, поджимая губы, а Свежников только прозрачно улыбался и постреливал на них холодными глазами.

Но так получилось, что именно они, сестрицы Авербух, Сара и Евгения, и стали тем инструментом, что прорвал нарыв и очень многое изменил в напряженной повседневной жизни училища.

В начале следующего года, уже после того, как первые стройотряды под идейным управлением Свежникова продемонстрировали свою творческую мощь в реставрации и росписях соборов, церквей, торговых и увеселительных центров, двух банков и даже нескольких частных вилл в ближайшем Подмосковье, член-корреспондента Свежникова избрали академиком Академии художеств и даже выдвинули на должность председателя.

Дело чуть было не забуксовало из-за какой-то ревизионной проверки, устроенной одним излишне инициативным подмосковным прокурором. Сразу обнаружилась утечка бюджетных средств на частные заказы, выявлен был преступный беспорядок в документации, подложные ведомости на выплаты студентам зарплат; оказалось, что куда-то исчезали тоннами строительные материалы, без позволения властей изменялись архитектурные проекты, поглощались земли, находившиеся поблизости от строителств.

Пожаловались и из патриархии, когда проверили качество работ на своих «божеских» объектах. Так их называл все профессор Свежников. Церковь тратила, оказывается, куда больше средств, чем требовалось. А куда все же девались эти средства, никто вразумительно объяснить не мог.

Но прокурора вдруг самого нежданно-негаданно поймали на взятке, а несколько критических материалов в небольших скандальных газетах, где трепалось имя Свежникова, были признаны клеветническими, «заказными». У двух из пяти газет отняли лицензию, одного главного редактора уволили за хищение редакционных средств, а второго так избili какие-то залетные и не пойманные хулиганы, что он превратился в безразличное ко всему «растение» – то есть в потребляющий пищу и произвольно испражняющийся безумный биологический организм.

Дело конечно же прекратили, и карьера Свежникова не пострадала. Он, правда, возмущался тем, что происходит на его глазах, но, как он божился, без его малейшего участия, посетил больного редактора и сделал несколько продуктовых передач в следственный изолятор, в котором содержался бывший прокурор.

Востриков скрежетал зубами, лютовал. Сестрицы Авербух уговаривали его посмотреть на всё другими глазами и не считать Максимилиана Авдеевича виноватым в этой грязной, многослойной и многосерийной истории.

– Да как же он смог бы! – воскликнула Сара и погладила Вострикова по руке. – Подумайте сами, Сашка! Он же старик уже... и такой заслуженный!

– Да вы же сами в его строительных шайках работали летом! – нервно отдернул руку Востриков.

– Работали, – кивнула Евгения, – расписывали храм, обе. Что ж с того! И даже заработали немного...

Она широко улыбнулась и прищелкнула языком.

Востриков вскинул на нее глаза и тут же, не удержавшись, весело рассмеялся: столько было искренности и бесхитростного задора в черных глазах Евгении и в зеленых – Сары. Он отмахнулся от девушек и повернулся, чтобы уйти. Разговор состоялся вечером в опустевшем коридоре училища, рядом с его мастерской.

– Право же, Сашка! – сказала вдруг серьезно Сара. – Максимилиан чудесный старикан. Знаете, что он нам всем предложил, всей его мастерской на нашем курсе?

– Что он еще вам предложил? – недружелюбно бросил Востриков.

– Не думайте, – продолжала улыбаться Женя. – Ничего неприличного. К сожалению...

Сестрицы захихикали и даже притопнули ногами, будто плясали ту самую мазурку со своей первой графической работы.

– Что, у него даже приличные предложения бывают? – скривился Востриков.

– Перестаньте, Сашка, – покачала головой Сара. – А то мы вас по имени-отчеству звать станем.

Сестрицы теперь уже серьезно переглянулись и согласно кивнули друг другу головой.

– Мы в конкурсе участвовать будем. От ЮНЕСКО, – прошептали они вдруг хором, – только это тайна, Сашка!

– Какой еще конкурс! При чем здесь ЮНЕСКО? – остановился в темном коридоре у стены Востриков и даже сделал шаг в сторону сестриц. В сумерках опять весело блестели их глаза.

В темноте, как известно, все кошки серы и глаза у них светятся одинаково. Почему-то именно это сейчас подумал Востриков.

– А вот такой! – вновь притопнула ногой Женя. – Вы только никому!

Она погрозила маленьким, коротеньким указательным пальчиком.

– Могила! – усмехнулся Востриков.

– Московское правительство рекомендовало профессору Свежникову принять участие в конкурсе на огромный грант в одном из парижских офисов ЮНЕСКО. И еще – выставочный центр... Мы точно не знаем, – зашептала Сара так звучно, что лучше бы уж, если она хотела сохранить это втайне от чужих ушей, сказала это обычным голосом, – но дело, похоже, серьезное.

– Он и нам предложил, – также шипящим шепотом подхватила Женя, – всем из мастерской.

Востриков ничего не слышал об этом конкурсе, потому что о нем в училище никто не говорил. Получалось, что Свежников скрыл это. Но одно то, что он всё же проявил заботу о своих птенцах-второкурсниках, вину с него как-то снимало. Во всяком случае, делало ее не такой уж тяжелой. Востриков растерянно пожал плечами и буркнул что-то вроде того: «Ну, удачи вам, ваятели!» и быстро исчез в темном тоннеле длинного гулкого коридора. Он решил больше об этом не задумываться, решил, что сестрицы действительно искренне хотели мира между ним и Свежниковым и рассказали о конкурсе лишь для того, чтобы пролить мягкий добрый свет на образ своего профессора и подвигнуть Вострикова к размышлениям, будто не всё так плохо в этом человеке, как он думает.

Однако Востриков был человеком упрямым и в этом смысле последовательным. С одной стороны, думал он, профессор проявил благородство и заботу о своих студентах, дал им, пусть и незначительный, пусть даже фантастический, но все же совершенно определенный шанс проявить творческие способности и, в случае невозможной удачи, заработать немалые деньги, не

говоря уж о мировой славе. Всё же проекты ЮНЕСКО стоили того, чтобы забыть обо всем остальном и увлечься только ими.

С другой стороны, Вострикова смутил шепот сестриц Авербух, бесхитростных девиц, на лицах и особенно в глазах которых всегда были написаны все их цели. А цели оказались следующими (и в этом Востриков ни на секунду не усомнился) – примирить между собой хотя бы ненадолго Вострикова со Свежниковым, похвалиться своим шансом участвовать в большом планетарном конкурсе и, главное, что особенно отметил Востриков, сохранить всё это в тайне по исключительному распоряжению профессора Свежникова.

Именно это последнее и беспокоило Вострикова. Оно перечеркивало все позитивные предположения, потому что не было похоже на повадки Свежникова: тот никогда бы не стал скрывать своего педагогического благородства, которым очень кичился, если бы за этим не стояли какие-то другие, тайные цели. А все тайные цели профессора Свежникова, по глубочайшему убеждению и. о. доцента Вострикова, пахивали мерзостью. Но тут Востриков остановился и решил дальше не копать. Очень уж отвлекало всё это от работы, от того, что он всегда считал для себя не просто главным, но даже единственным – от поиска и творческого оформления уникальной генетической сокровищницы, художественных талантов своих студентов.

Но прерванная мысль Вострикова как раз шла в правильном направлении – шепот сестриц Авербух, звенящий в темном коридоре, выдавал подлинные цели профессора Свежникова, хотя и шептались сестрицы даже не подозревая об этом. Просто они выполняли требование профессора: никому ни слова! Они расценили его как скромность и решили перешагнуть через данную ими клятву. «Омерта» – называли они ее, смеясь, и торжественно-иронично поднимали вверх по два сомкнутых пальца, безымянный и указательный. Скромность такого видного человека, как Свежников, подлежала воздаянию. И самое малое – это доведение доказательств ее до его заблуждающегося противника, то есть до Сашки Вострикова.

Но дело на самом деле было куда более серьезным и повод к таинственности куда более глубоким. Искренние сестрицы не могли додуматься до этого, потому что такого рода вещи лежали за пределами их психологии и никогда бы не уместились в ее рамках, как невозможным для хирурга было бы внести в операционную грязную вещь. Святость замкнутого пространства охраняется не столько законами, но душами преданных святилищу непорочных, искренних людей. Поэтому в шепоте сестриц было то, что свидетельствовало об их духовной стерильности.

Свежников, неплохой психолог, это понимал, и доверился своей второкурсной «лаборатории» без всякого страха быть разоблаченным в чем-то неприличном, грязном.

А дело, оказывается, заключалось в следующем. Его позвали к одному высокому и влиятельному московскому чиновнику, о котором ходила недобрая слава как о «личном кошельке» своего могучего шефа, и тот вполголоса поведал профессору о возможности присвоить огромный грант на роспись не просто одного из офисов ЮНЕСКО в Париже, а на графическое и дизайнерское оформление большой международной выставки, проходящей под эгидой того же самого ЮНЕСКО и еще какой-то важной службы ООН.

Было оформлено предварительное соглашение, что работы поручаются исключительно российской стороне и никакой другой. Этой же стороне достанутся и гранты, и все позитивные преимущества, которые эти самые гранты сопровождают. Русские чиновники, склонные к намеренным искривлениям в пространстве и нередко даже во времени, не стали копаться в подробностях проекта и даже не пожелали заметить, что он предварялся конкурсом. Их собственные конкурсы обычно управлялись ими же, и поэтому такой мелочи они никогда не придавали большого значения. Профессор Свежников, новоиспеченный академик, педагог, заметный творец парил над всяким конкурсом на недостижимой для других высоте. Его авторитет был уже очень давно и щедро оплачен властями, и никто, по общему мнению, не мог превзойти его.

Но совсем иначе считали другие чиновники, те, что назначали гранты и свои привычки приобретали не во внутреннем пространстве России, а на упорядоченных территориях остального цивилизованного мира. И в этом они были так же последовательны, а в каких-то конкретных случаях непреклонны, как их русские коллеги в своих привычках.

Сразу после заявления имени Свежникова последовало благодарственное письмо за столь авторитетный выбор на все работы, но тут же было приписано, что, по условиям конкурса, гранты хоть и достаются русской стороне, но ею должны быть представлены не менее пяти соискателей. Иначе конкурс будет сорван и ЮНЕСКО передаст гранты другой стране. Следующей на очереди стояла Англия. Так говорилось в том приветственном, но исключительно, по-европейски, холодном письме.

В Москве наконец вчитались во все условия, записанные в договоре, и всплеснули руками: почему это деньги и слава должны достаться англичанам! Как тут быть?

Решили обратиться к Свежникову. Он сначала явно испугался потери грантов, потом на несколько минут заметно расстроился и вдруг просиял.

– А что, не сказано ли там, что участники конкурса должны быть в равной степени титулованы? – спросил он с лукавинкой в глазах и с легкой улыбкой, обнажившей его ровные белые зубы, которые он теперь с удовольствием демонстрировал, потому что вставил совсем недавно какую-то фантастически дорогую керамику.

– Ни слова об этом! – ответил тот самый чиновник, которого подозревали в нечистых делах и помыслах под дланью всесильного, могущественного шефа.

– Так это же меняет всё, товарищи! – воскликнул профессор Свежников. – Хотя, простите старика, никак не привыкну – господи!

– Что же это меняет? – удивился чиновник, говоривший с легким кавказским акцентом. Он всегда, когда волновался, терял над собой контроль и начинал говорить так, как это делал еще в студенческие годы, когда только-только приехал в Москву из Закавказья на учебу в строительном институте.

– Да всё меняет, дорогой вы мой! – теперь уже широко улыбался профессор. – Привлечем к этому их дурацкому конкурсу всю мою младшую «лабораторию малых талантов». Вдумайтесь!

Чиновник начал понимать профессора и ответил ему сдержанной улыбкой. Во рту блеснул золотой зуб.

– У некоторых мудрых японских мастеров боевых искусств, то есть у высших учителей специальных школ, – рассуждал Свежников, – есть такая практика: обучить нескольким видам боя своих учеников так, чтобы дотянуть их до своего уровня. Однако они всегда оставляют один из видов, способный превозмочь все остальные, в тайне от учеников. Это их гарантия, их защита. Ученики это знают и стараются на учителя хвост не задирать.

Он потер ладони одну о другую и покачал головой, не отрывая взгляда от чиновника.

– Вы считаете меня мудрым педагогом или сомневаетесь во мне?

Чиновник, как и многие в московском правительстве, в профессоре Свежникове не сомневался. Вот так было решено, оставив в секрете многое, привлечь к конкурсу «лабораторию малых талантов». Профессор был убежден, что, несмотря на многие успехи его учеников, им учителя не одолеть, как бы они ни тужились.

В штаб-квартиру ЮНЕСКО полетел список конкурсантов: на первом месте мастер, то есть профессор Свежников, далее – Эдик Асланян, Гарик Семенов, Сергей Павликов, Иван Большой, Рая Тамбулаева и сестрицы Авербух. Причем последних было рекомендовано засчитать как одну творческую единицу в силу специфичности их способностей. Это, последнее, очень заинтересовало и даже позабавило организаторов конкурса, и список соискателей был торжественно утвержден. Теперь необходимо было ознакомить всех с требованиями и предложить составить собственные проекты и эскизы. На всё давалось полгода. Время, как понимали сто-

роны, явно недостаточное. Но слишком долго русская сторона топталась на месте, прежде чем решить проблему безопасного для профессора Свежникова соискательства.

В «лаборатории малых талантов» закипела работа. Все соискатели стали уединяться, надежно прятать свои чертежи, расчеты, начальные эскизы. Это захватило даже сестриц Авербух, хотя они очень страдали от вынужденной скрытности и оттого стали невеселыми, нервными. Если бы не цейтнот, в который они попали наравне с другими, то их поразила бы одна депрессия на двоих, в этом случае не делившаяся, а умножавшаяся вдвое. Но времени на такие нежности не было. Пришлось их отложить на потом, на после конкурса.

Несмотря на старания, никто из «малых талантов» на успех всерьез не рассчитывал – ведь они впервые оказались на одной стартовой черте с самим Свежниковым. Но каждый был благодарен ему за шанс принять участие в общем с ним забеге и, чтобы не подвести старого учителя, рвались из кожи вон. Их приз, как считали все они, был уже получен: они удостоены признания профессора и допущены до конкурса с ним лично.

Разве лишь сестрицы Авербух допускали некоторую вольность в оценке своих способностей и считали, что уступить без боя, из одной только благодарности Свежникову, оскорбительно не столько для них, сколько для него самого. Он должен победить (и он, скорее всего, победит!) если уж не в равной борьбе, то хотя бы в достойной по напряженности. А для этого им нужно выложиться полностью, отдать себя делу до капельки, до последнего рыжего или черного волоска.

Их отец, сильно состарившийся за последний год мастер-портной Лев Авербух, еще больше подогревал амбиции близнецов.

– Девицы! – говорил он сурово, строго. – Вы должны уважать учителя. Покажите всем, чему он вас обучил и как он талантлив. Работа ученика говорит об учителе куда больше, чем его собственная работа. Это я вам заявляю, портной Лев Авербух, учитель без учеников.

Заключительную фразу он произнес скрипуче, с печалью. Он вообще в последнее время очень печалился, потому что его подводило здоровье: непривычно, очень недобро шалило всегда крепкое сердце, раздражающе непоправимо галопировало взад-вперед давление.

Он торопился увидеть успехи дочерей, видя в этом главный, заключительный аккорд всей своей жизни. Поэтому он и наставлял их, даже немного нервировал, и часто, когда они работали дома, выглядывал из-за их спин, ревностно, придирчиво пытался разглядеть то, что они сосредоточенно делали. Он расчистил для них свою мастерскую, отказал на полгода всем клиентам, говоря с высокомерием, что его дочери выполняют важный планетарный заказ.

Остальные соискатели работали также напряженно и даже отчаянно. Гарик Семенов выжил из личной мастерской деда, решительно сдвинул в стороны его монументальные произведения: от постаревших и пожелтевших девушек с веслами до бюстов всех величин узнаваемых и неузнаваемых моделей, и, не обращая внимание на брюзжание старого скульптора, установил прямо у огромного окна гигантского размера мольберт, рядом на выдавшем виды, испачканном засохшим гипсом ломберном столике разместил полированный, светлого дерева этюдник с красками, большой металлический стакан с остро заточенными карандашами, три разного размера рейсфедера и пару баночек с китайской тушью. К ножке столика он прислонил картонный планшет с набором различной фактуры белых и голубоватых листов. Еще на столике, на его исцарапанной мраморной крышке, располагалась жестяная коробка с акварелью и гуашью.

Выбор Гарика пал, как и ожидалось, на монументальное изображение тем, связанных с покорением космоса, со строительством гигантских промышленных объектов, с полетами устрашающего вида авиалайнеров, больше похожих на межконтинентальные ракеты – в разных вариантах. Было там еще что-то очень монументальное, веское, претендующее на вечность, на приметы эпохи.

Эскизы работ Гарик несмело показал Максимилиану Авдеевичу. Тот удовлетворенно прищелкнул языком, сделал несколько дельных замечаний, в основном касающихся композиции, и работа закипела дальше.

Эдик Асланян осел в мастерской, которую очень давно для него снял и оплачивал его отец Гермес Асланян. Здесь же иногда организовывались выставки молодого дарования, разбавленные бледными полотнами еще каких-то безвестных художников. На этот раз всё подчинялось главной идее – конкурсной работе.

К Эдику были приставлены два брата Карапетяна – Карапет и Ашот, которые никого лишнего в мастерскую не допускали и круглосуточно заботились о том, чтобы сын их властного шефа ни в чем не нуждался. Карапет, огромного роста, волосатый мужлан с темным, звероподобным лицом сидел у входа на табурете и нехотя отпирал дверь в мастерскую, если кто-нибудь туда невзначай наведывался. Слышалось только его сиплое: «нэт, нэт», и дверь вновь неслышно запиралась. За поясом у Карапета вороным матовым крылом, не скрываясь, отсвечивал тяжелый пистолет. Это не удивляло Эдика, потому что он считал оружие таким же инструментом профессии Карапета, как кисть и краски для себя. Такова была его суровая роль в жизни семьи.

Ашот занимался внешними связями. Он был выше и тоньше брата, хотя так же волосат и хмур. На черном, лаковом «мерседесе» он привозил завтраки, обеды и ужины, туалетную бумагу, ватманы, краску, кисти всех существующих видов с цельнотянутыми «обоймами», держащими волосяные пучки. Ручки у этих кистей были изготовлены из твердой древесины лиственных пород деревьев: бук, ясень, береза. Волосяные жала – круглые, контурные, плоские, ретушные, типа «кошачий глаз», шрифтовые, линейные и даже какие-то веерные, больше применяемые для макияжа лица женщинами, чем художниками в их творчестве. Но пригодиться, по мнению Ашота, должно было всё. В мастерской Эдика появился тайваньский компрессор с ресивером и набор необыкновенно сложных аэрографов, по большей части немецких. Эдик усмехнулся, подумав, что его готовят к делу так, словно он хирург, занимающийся сложнейшими нейрохирургическими операциями. Во всяком случае, никель и алмазные ребра купленных Ашотом инструментов, превращали художественную мастерскую в солидную операционную, ожидающую важных пациентов. Стоило всё это страшно дорого, да еще не везде можно было достать тот или иной предмет, но Ашот проявлял чудеса настойчивости и, переплачивая, покупал и покупал.

Словом, дело шло, Эдик работал почти без сна. В мастерской установили несколько рабочих мест, и он переходил от одного к другому, а братья неслышно, незаметно убирали за ним мусор, грязь, пыль, стирали масляные и акварельные пятна, смывали с пола разлитую тушь. Они аккуратно складывали в стопки изрезанную и просто сорванную Эдиком с мольберта бумагу, покрытую акриловыми красками для фона, и собирали это в огромные планшеты с тесемочками и замочками. Им жаль было выбрасывать бумагу ровных, сочных и нежных тонов. Она казалась им почти завершенной работой. Все, что бы ни делал Эдик, имело для них особую ценность и должно быть сохранено бог знает для чего.

Гермес появлялся раз в день, к полудню, задумчиво рассматривал эскизы и, поглаживая сына по кудрявой голове, говорил всегда по-русски:

– Делай, делай, сынок! Пусть все знают! Твоим консультантом будет дядя Шарль. Его послушаются...

Шарлем в кругах, близких к семье Асланянов, звали иногда самого Азнавура. Но чаще называли его именем, полученным при рождении – Варенагом Азнавуряном. Родственниками ему не были, но уважали его и как соплеменника, и как творца, и как влиятельного, богатого человека.

Эдик не обращал внимания на папины слова, потому что догадывался о том, что конкурс в Париже будет проходить не так, как проходят конкурсы на его большой родине, когда-

то называвшейся СССР. Там не будут иметь значения ни родственные, ни племенные связи, ни даже деньги. Всё дело в таланте исполнителя, в его оригинальности, в качестве эскизов. Поэтому Эдик старался из-за всех сил. Рефреном стала библейская тема, изложенная в национально-художественном ключе. Это было и рождение Христа в ясельках, и первое крещение, и его мать, и впечатляющие встречи с апостолами, и воскресение Лазаря, и распятие.

Эдик искренне переживал за своих героев, которые были героями почти половины человечества; его волнение чувствовалось в трепетных, талантливых линиях, начертанных на бумаге его юной рукой. Духовная нетленность и злободневность их образов возбуждало его сознание, приобщая молодое дарование к тому, казалось бы, ясному и простому, что в своем взаимодействии, в конце концов, убеждало его как раз в обратном: в сложности, многоликости единого и в то же время трагически разобщенного христианского мира. Абсурдность, противоречивость этих ощущений властно владели его кистью, его мыслью. Из-за кажущейся плоскости изображений, будто сдвинутых, скошенных в мрачных тонах кривого зеркала, в тенях вечной тайны бытия, проглядывало око национального гения его народа, одним из первых пришедшего к Истине Нового Завета. Будто из глубокого, холодного колодца прошедших тысячелетий поднимались в виде легких, теплых ладанных испарений так и непонятые человеком легенды Христовой трагедии и, преломившись в свете изумленного мира, застывали на талантливых полотнах Эдика Асланяна.

Максимилиан Авдеевич один раз, без предупреждения, заехал в мастерскую Асланянов, но не был допущен внутрь неумолимым, скупым на слова Карапетом. Профессор обиделся и гордо удалился, блестя старческими, давно уже теряющими первоначальный цвет глазами.

О его неудачном визите стало известно Гермесу Асланяну, и он лично, с охраной, с необычайной помпой заехал за профессором Свежниковым и привез его к сыну. Гермес яростно блеснул глазами на верного стража Карапета, и тот, побагровев, будто бы сдуся.

– Извините моего родственника, – волнуясь, но всё же твердо сказал Гермес профессору. – Он еще молодой, горячий. Не понимает... Он вас не узнал. Деревенский парень, какая у них там культура в горах!

– Ничего, ничего, – почему-то испугался упоминания о горах и об их, как ему казалось, несколько мрачной культуре Свежников. – Я не в обиде! Мальчик работает, ему не следует мешать.

Свежников высоко оценил руку своего ученика и даже как будто расстроился, во всяком случае, выглядел печально притихшим. Возможно, он впервые задумался о том, что кое-кто из соискателей может доставить ему беспокойство своим упрямством и настойчивостью.

Сергей Павликов работал, как и другие, не покладая рук. Он и его супруга-натурщица, та самая модель, по семейному прозвищу Гусонька, вытащили из снимаемой ими кухни всю мебель, оставив лишь газовую плиту и холодильник, и устроили там удобную мастерскую. Гусонька купила мужу новый мольберт, набор всех видов красок и прочую художественную «снесь» и даже высокий, треногий табурет для себя, на котором она позировала ему в обнаженном виде, покрываясь крупными пупырями гусиной кожи.

Это вовсе не означало, что на всех эскизах изображалась Гусонька. Однако ее молочное, гибкое тело необыкновенно вдохновляло мастера, и даже время от времени некоторые его округлости, его угадываемые контуры вливались в общий хаос линий и абстрактных сюжетов.

Работа Павликова выгодно отличалась от работ других его коллег по «лаборатории» тем, что она не имела притяжения ни к национальным, ни к конфессиальным, ни к амбициозно-монументальным доктринам и концепциям. Это было поистине абстрактное искусство, нисходящее к идеям шестидесятых годов и в наши дни вновь приобретающее более или менее свежее дыхание. Сергей Павликов обнаружил удивительное чувство цвета, теней, форм. Возможно, последнее ему было подсказано его милой моделью, не слезавшей с треноги целыми днями.

Когда приехал с инспекцией Максимилиан Авдеевич, Гусонька нехотя соскользнула с высоченного табурета и с еще большим нежеланием накинула на себя черный китайский халатик с желто-красными алчущими драконами на спине. Свежников впервые рассмотрел Гусоньку вне привычного студийного пространства и с волнением подумал, что и натурщица, оказывается, может взволновать воображение не только художника в работе, но и мужчину вне всякой его социальной деятельности.

Свежников смущенно заалел щеками, блеснул глазом и уставился в эскизы своего не самого талантливого, как он считал, ученика. Однако и здесь волнение лизнуло его сердце. Что-то в работах Павликова насторожило: вроде бы эту «песню» он уже где-то слышал, вроде бы она уже звучала когда-то, но это ощущение не порождало досаду, какую вызывает плагиат, а напротив, возвращало к уже забытым приятным вкусам, к старым ощущениям легкости, свободы, будущности. В этом была и своя монументальность, и удивительно уживающаяся с ней камерность. Всё вместе звучало наподобие радостной цветной кантаты, а в каждом фрагменте сохранялся интимный уют, эротическая, сладкая, нежная фантазия.

Это было открытие для профессора! И не только новой концепции, но и таланта ученика. Вновь взгрустнулось учителю, но вида он постарался не подавать.

Спокойнее его ревнивая душа оказалась в домашней мастерской Раи Тамбулаевой. Родители освободили ей свою спальню, переехав на время к сестре отца за город. Рая увлеклась флористикой. Из набухших эротичных бутонов торчали агрессивные на вид тычинки, с которых стекала вниз не то слеза, не то что-то молочное, а может быть, то и другое. Цветовая гамма всех без исключения эскизов была кричащей, наглой, бесцеремонной. И в этом состояло что-то волнующее, острое! Цветы притягивали взор, заставляли слегка краснеть и волноваться. Они действовали на подкорку наблюдателя, и, пожалуй, Фрейд всплеснул бы удовлетворенно ладонями, увидев в изображениях Раи Тамбулаевой подтверждение своим самым смелым гипотезам.

Приехавший с визитом Максимилиан Авдеевич и сам готов был заволноваться, но почему-то подумал, что такая интерьерная концепция вряд ли заинтересует высокое жюри, и успокоенно погладил Раино колено своей всё еще сильной жилистой рукой. Колено ее даже не вздрогнуло, и это почему-то расстроило профессора. Для продолжения его фантазии и для страстного развития естественного мужского, хоть и стареющего, импульса требовалось некоторое сопротивление встречного материала. Так и уехал Максимилиан Авдеевич ни с чем – ни в душе, ни в теле не было облегчения.

Иван Большой удивил профессора Свежникова неожиданной концепцией. Известный тягой к портретной живописи он решил украсить интерьеры помещений, предложенных ЮНЕСКО, галереей великих личностей нескольких веков – от позднего Средневековья до наших дней, называемых «новейшим временем». Работа предстояла титаническая, но эскизный вариант предполагал лишь изложение самой концепции и демонстрацию двух или трех фрагментарных рисунков. Для этого решения Ивану не понадобилась большая мастерская, и он с успехом воспользовался привычным для себя пространством и средствами: у окна в своей комнате, на старом, измазанном краской мольберте, на обыкновенной, принятой в училище бумаге, масляными красками. В этом тем не менее ощущалась оригинальность хода, потому что удивляло сочетание сложности доктрины с простотой ее исполнения. Что-то здесь было от синтезированного решения Павликова с его абстракциями и в то же время опровергалось известным консерватизмом жанра.

Профессор уехал от этого ученика несколько озадаченным: соискатели имели шансы обойти друг друга, но имели ли они шансы обойти своего мастера? Сердце неприятно, тревожно вздрагивало, и идея привлечь к конкурсу всю «лабораторию малых талантов» теперь уже не казалась ему столь же здоровой, как раньше.

Последний визит он попытался нанести сестрицам Авербух в портняжную мастерскую их отца Льва Авербуха. Но тут его не пустили обе девицы. Они встали перед ним на пороге двумя разновеликими шахматными турами и, хитро подмигивая, в один голос заговорили о том, что хотели бы сделать ему сюрприз, а потому не должны уступать его естественному желанию увидеть их эскизы раньше, чем их увидит высокое жюри. Сестрицы были так искренни, так веселы в своем стремлении угодить вкусам как общественности, так и своего милого учителя, что он разом успокоился и, смешно покачивая головой, удалился. Сестрицы Авербух были совершенно безопасны.

Пожалуй, думал профессор Свежников, сидя на кожаном диване в служебном черном «линкольне», выделенном ему лично столичным руководством, привлечь к конкурсу надо было лишь сестриц Авербух и, быть может, еще и Гарика Семенова. Ну, возможно, еще и Ивана Большого... или Раечку Тамбулаеву. Хотя, конечно, и Раечка, и Иван имели кое-какие шансы...

Душа была спокойна только за близнецов.

– Однойцовые милые дурашки, – улыбался профессор.

Он ехал в свою большую, трехэтажную мастерскую рядом с храмом Христа Спасителя, до седой своей макушки заполненный идеями, почерпнутыми из работ учеников. Решение пришло разом: он должен замешать их концепции в одну, повторив их во фрагментах и заключив в свое идейное «яйцо». Тогда убиты все их шансы, а его – возрастают ровно на их суммированный коэффициент, многократно помноженный на его признанный талант мастера.

Профессор Максимилиан Авдеевич Свежников взялся за кисть с необыкновенным для себя воодушевлением. Ведь он учитель, педагог, а это дает ему несомненное право повернуть вспять те спокойные, тихие ручьи и те бурные горные потоки, которые он когда-то направил из своего сердца, из многоопытного ума к маленьким пристаням своих последователей и учеников. Вот ведь великий Тициан когда-то пользовал кисть не менее великого Эль Греко, да и других своих учеников. Говорят, критянин работал у старого мастера, растирал для него краски, выписывал порученные ему фрагменты на тициановских полотнах по заказам дома Габсбургов, а старик беззастенчиво эксплуатировал чужестранный талант. С чего это было критянину, неизвестному тогда греку, сбегать в Испанию? Захотелось воли? Надоел старый брюзга-учитель? Но ведь творчество взаимно обогащает. Если на Эль Греко оказал серьезное влияние Микеланджело, то это ведь не значит, что критянин был склонен к такому смертному греху, как плагиат! Это всего-навсего естественное перетекание творческой мысли из одного талантливое сердца в другое! Что это, как не продолжение великого рода, пусть не кровного, не клеточного, но духовного?! Происходит сие действие не только от учителя к ученику, но и в виде справедливой оплаты за потраченные усилия, за волнения, за утекающее безвозвратно время, от ученика к учителю. И дает блестящие плоды, которые идут на пользу всему человечеству так же, как полезен сад, обработанный заботливыми руками десятков людей, но задуманный с архитектурной точностью и изысканностью одним большим садовником, одним талантливым архитектором.

Успокоенный этими мыслями Свежников отправил с шофером в училище заявление о творческом отпуске до конца конкурса. В училище благодарно вздохнули, и ректор с легкой улыбкой подписал заявление.

Полгода промелькнули одним утомительным днем и одной бессонной ночью. Так показалось Свежникову, человеку уже очень не молодому и поэтому нетерпеливому. Это – заблуждение считать нетерпеливыми юношей. Они, скорее, суетливы, чем нетерпеливы, но в то же время природа лукаво шепчет им, что впереди еще бесконечно много шансов ухватить Бога за бороду, а посему – самое время для лени и развлечений. Всё, мол, можно будет нагнать, всё можно будет легко и непринужденно исправить.

Природа лжет им, потому что она скрывает за сенью легкомыслия острый топор невозвратных лет.

Понимают это *бывшие* юноши лишь тогда, когда сей топор сверкнет неумолимым лезвием над самой их головой, и та поседеет от испуга, что позади осталась большая часть жизни, а впереди лишь беспомощные воспоминания о ней.

Поэтому нетерпение, даже некоторая торопливость, на самом деле свойственна в большей мере старости, нежели юности.

Профессор Свежников это понимал всеми клеточками усталого от пройденных лет тела, каждым нейроном, отчаянно пробивавшем его потерявший эластичность и свежесть мозг, каждой каплей крови, втекавшей в его уже дающие серьезные сбои старое сердце.

Прежде чем отправить свои эскизы на конкурс в Париж, Максимилиан Авдеевич дал распоряжение двум расторопным секретарям обзвонить остальных соискателей и назначить им встречу в училище, в большой студии. От учеников требовалось явиться с описаниями своих конкурсных работ. Объяснял он это очень просто: хотелось бы убедиться, что позор за их неумелость не ляжет лишней сединой на голову старого учителя.

С этим спорить было нельзя, неповиновение поставило бы под сомнение и авторитет безупречного старца, и стало бы черной неблагодарностью, брошенной ему в лицо. К тому же в дальнейшем учиться всё же придется в его мастерской. «Лабораторию малых талантов» и стройотряды, дающие какой-никакой заработок, никто отменять не собирался.

О том, что такая встреча должна состояться, стало известно и Вострикову. Он по этому поводу поджал губы и произнес глубокомысленное недоверчивое: «м-да!»

Слетелись все птенцы, и даже те, кто в конкурсе не участвовал и даже во все курсовые «лаборатории малых талантов» не входил. Каждому было любопытно узнать, что будет отправлено в Париж. Решили шепотом, толкаясь в курилках и в уютных студенческих углах училища, сыграть роль предварительного, негласного жюри.

Свежников об этом догадывался еще и потому, что в студию явились и многие преподаватели, большинство по надуманным пустым поводам, не связанным с конкурсом. Отказывать он никому не стал, хотя внутренне в нем всё сотрясалось от волнения, вызванного вдруг весть откуда взявшейся неуверенностью в себе. Профессор решил, что это верный знак того, что в Париже всё пройдет гладко, потому что жертва Богу тем самым отдана сполна.

Соискатели явились в неполном составе. Не было сестриц Авербух. Свежников заметил это, когда все работы и описания были выставлены на огромных мольбертах по числу соискателей. Лишь один мольберт криво стоял в стороне сухим, таинственным скелетом.

Действо началось в тишине, без единого слова, лишь под шарканье ног. На дворе был февраль, необыкновенно теплый, влажный, будто кто-то его командировал со всей природой в раннюю весну. На полу в студии образовались грязные, бурые лужицы от сотен подошв всё еще зимней обуви, а в воздухе, через дерзко приоткрытые окна, плескалась преждевременная свежесть.

Не было и Вострикова, который не стал искать никаких поводов и вроде бы интересоваться работами соискателей не хотел. Это далось ему с огромным трудом. Он метался на своей кафедре, куря одну сигарету за другой и что-то нервное бурча себе под нос, в нестриженные усы и всклокоченную бородку. Александр Васильевич корил себя за это, называя трусом и мелким пакостником, но поделаться с собой ничего не мог. Презрение к профессору Свежникову, подгоняемое мыслью о том, что тот намеренно собрал в соискатели самых слабых студентов, что именно для таких случаев и для их бессовестной эксплуатации он и изобрел когда-то свою лукавую «лабораторию», владело сознанием Вострикова властно и без всяких сомнений.

Забежал на мгновение Матвей Наливайко и, краснея, крикнул в дверь:

– Все собрались, Александр Васильевич... только Авербух нет... ни одной...

– Как ни одной! – растерянно вскрикнул Востриков. – Что значит ни одной?!

– Так нет сестриц-то! – услышал он ответ, будто брошенный широкой спиной исчезающего в коридоре Матвея.

Востриков быстро забегал по помещению, сшибая на пол бумагу, карандаши, кисти, и чуть было не разлил тушь, но успел каким-то чудом подхватить уже почти опрокинутую баночку. Это охладило его, отрезвило. Он остановился растерянно и зло сплюнул на пол.

– Ну что я размахался хвостом! – произнес он вслух, громко и ясно. – Опоздали девицы... сейчас придут. Или вообще не уложились... Они такие... чудные они!

Он поразмыслял немного и подошел к старому, дисковому телефонному аппарату, перемазанному сразу несколькими красками – на трубке, на самом диске и на тяжелой основе корпуса, за который его держали, когда перетаскивали, пользуясь длинным проводом, от одного рабочего места к другому.

Востриков взял в руки старую амбарную книгу, на последней странице которой его мелким, ровным почерком были выписаны телефоны тех, кто мог понадобиться когда-нибудь, или кто был достоин на эту страницу угодить, и, разглядев домашний телефон Авербух, намеренно неспешно поднес к уху тяжелую черную трубку и так же неспешно завертел указательным пальцем прозрачный упругий диск.

Где-то очень далеко, посередине провода, соединяющего его кабинет и квартиру Авербухов, какой-то современный, компактный узелок связи оцепенело замер в нерешительности: такой древний, дисковый сигнал он получал теперь крайне редко. Узелок онемел от изумления и некоторое время, видимо, размышлял, не снится ли ему это, не шутка ли и не открывшаяся во мрак прошедшего века временная дыра. Но прочитав все же знакомый чем-то электрический импульс, нехотя, раздраженно отправил сигнал дальше – на домашний аппарат Авербухов. Тот, хоть и не был последним, надменным словом современной телефонной техники, но и таким древним, как аппарат на кафедре у Вострикова, тоже быть никак не мог. Сестрицы постоянно давили на отца, вынуждая его, пусть и со значительным опозданием, но всё же менять всякую технику и знакомиться с ее развивающимися новшествами. Делал он это нехотя, с демонстративным раздражением, видя в том ущемление своих «домостройных» принципов, но и дочерям в душе потворствовал с тайным, стыдливым удовольствием, как раньше, когда наслаждался их детской радостью, вызванной подаренными им новыми игрушками.

Лев Авербух и подошел к аппарату.

– Авербух слушает, – сказал он важно, как делал это обычно. Дочери очень веселились всегда по этому поводу, а жена прозрачно усмехалась.

– Востриков это... извините... а Женя или Сара дома?

– Работают, – также важно ответил Лев Авербух. – Очень заняты. У них конкурс предстоит.

– Оторвите их от дел на минуту, прошу вас. Это... преподаватель... из художественного.

Лев Авербух аккуратно положил трубку на крышку столика рядом с аппаратом и, шаркая старыми меховыми тапками с потертым замшевым верхом, подкрался к дверям своей же мастерской, в которой уже полгода творили дочери. Он осторожно приоткрыл дверь, просунул в образовавшуюся щель длинный сопящий нос и приставил один глаз. Сестрицы стояли задумчиво перед мольбертом и что-то пристально рассматривали. На их губах блуждала одна на двоих улыбка, довольная, озорная.

– Девочки! – зашептал Лев Авербух, заменив в дверной щели нос и глаз вытянутыми в трубочку губами.

Сестры разом повернулись.

– Папа! – вскрикнула Женя. – Да зайди же! У нас всё готово. Посмотри... Тебе нравится?

– Вас к телефону... обеих, – ответил отец, смелее распахнув дверь, – из художественного сказали... Сашка ваш... Востриков.

Ему нравилось, как его дочери звали Вострикова. В этом для него было что-то отворенное, безопасное, минующее то неизведанное, что обычно сопровождает темная броня имени-отчества и научного звания. Безопасность его дочерей, их духовная девственность для него значили больше, чем традиционные формы общения со взрослыми мужчинами, за чем могут скрываться обиды, предназначенные им. Он теперь тревожился за их сердечный покой, за чистоту их восприятия посторонними, за их душевную нетронутость так же, как раньше беспокоился за их здоровье и жизнь в ребяческом возрасте.

Сестрицы гуськом прошествовали в коридор мимо него, впереди приземистая Евгения, позади худая, высокая Сара, а он скользнул в мастерскую и подкрался (именно подкрался, как будто боялся спугнуть что-то очень чуткое, трепетное) к раскоряченному, потяжелевшему мольберту.

Девочки вернулись очень быстро, также гуськом, только теперь впереди Сара, а за ней Евгения, и встали около отца перед мольбертом. Лев Авербух осторожно перелистывал огромный альбом, установленный на держателе. Все молчали.

– Ну как? – спросила, наконец, севшим голосом Сара.

– Как, папа? – нетерпеливо подхватила Женя.

Лев Авербух наклонил набок голову и сказал твердо:

– Не морщит. Не тянет. Будет носиться.

Девочки переглянулись и громко рассмеялись.

– Еще как будет носиться! – вдруг фальцетом взвизгнул отец и широко заулыбался, отчего его длинный нос опустился на самые губы вниз, как рельефно вычерченная тяжелая стрела с хищным острием. Оперением у той стрелы служили всклокоченные, жесткие брови.

– Это я вам говорю, портной со стажем Лев Авербух! Я-то знаю, что будет носиться, а что повиснет в гардеробе в одиночестве, как в позорной ссылке.

Сестрицы одна за другой громко чмокнули отца в бритые щеки.

– Отец знает, что говорит, – веско прозвучало сзади. – Слушайте папу.

Все трое обернулись на голос. В дверях стояла мама, вдруг осветив своей невянущей красотой неряшливую мастерскую с ее портняжным столом, заваленным рисунками, кистями, карандашами, уставленным баночками с китайской тушью, с «послетворческим» мусором на полу, свидетельствующим о многих муках и стараниях, что металась тут целых полгода, с тяжелой ношей мольберта и с распахнутыми ящиками этюдников, с измазанными, влажными еще палитрами.

Этот приговор был уже окончательным. Во всяком случае, невозможность его пересмотра немедленно отразилась на довольном лице Льва Авербуха.

Телефонный разговор, только что состоявшийся между Женей (трубку первой взяла она) и Востриковым был короток.

– Мы не успели приехать к Свежникову, – сказала как будто виновато Женя, – заработались... даже забыли, откровенно говоря. Неудобно получилось...

– Я думал, с вами что-то стряслось... – проямлил Востриков.

– Стряслось, Сашка! Мы закончили, – упавшим голосом сообщила Женя. – Страшно, аж жуть!

А в училище, на выставке творилось невообразимое: все вдруг заговорили разом, скрыв за гомоном шум от шаркающих подошв. Хвалили всех подряд, раздавалось «знай наших!», «это только начало», «во дают!», но потом всё же собрались, сгрудились вокруг работы самого Свежникова и опять притихли.

– Это заключительный, сильнейший аккорд! – заявил появившийся в последний момент ректор. – Вы, несомненно, гений, Максимилиан Авдеевич. И учитель, педагог величайший!

Все немного смущенно закивали и тихо стали переговариваться между собой. В блестящую работу мастера были встроены, аккуратно и точно вкраплены все черты, все идейные построения его далеко небесталанных учеников «лаборатории малых талантов».

Некоторое уныние можно было прочесть лишь на лицах остальных соискателей. Эдик Асланян, разглядев в некоторых важных фрагментах то, что считал исключительно своим, что когда-то, полгода назад, родилось в его беспокойной голове, в его темпераментной душе, мрачно прошептал что-то по-армянски и опустил вдруг густо почерневшие глаза.

Его никто не понял бы, если б даже смог разобрать слова.

– На кой дьявол был нужен Карапет у входа с пистолетом за ремнем! Мысль уходит не через дверь...

Гарик Семенов незаметно вышел из студии и тут же набрал по мобильному телефону номер деда:

– Он нас обошел, дед! – сказал он, не здороваясь.

– Кто? – спросил дед.

– Твой старый приятель! Свежников. Он нас как липку ободрал...

– То ли еще будет... Гарик, пока он жив и живы мы! – спокойно ответил дед. – Главное, внучок, в таком деле не побеждать, а участвовать. Запомни это. Я не сомневался в результате, я знаю наших...

Но до результата было еще очень далеко.

Так сказала и Гусонька на растерянный звонок Павликова из училища. Он почти заплакал, даже всхлипнул разок.

Сестрицы Авербух так и не приехали, а поздним вечером к ним в дверь позвонил обеспокоенный профессор Свежников. Но ни девушек, ни их работы дома не было. Лев Авербух пригласил профессора в мастерскую, развел руками и сказал немного печально:

– Вот, Максимилиан Авдеевич, дорогой вы мой, здесь они полгода и творили. Я о вас слышал много... один раз даже довелось увидеть, когда вы приезжали к моим девицам... Но не посмел тогда побеспокоить... такой человек! Такая фигура! А кто на вас шьет?

– Армани, – хмуро ответил профессор. – Есть такой портняжка.

– Хороший портняжка. Хороший. Жора... звать его Жорой, Джорджио по-ихнему. Но и мы тоже кое-что можем... – задумчиво проговорил Лев Авербух и внимательно, как-то уж слишком профессионально окинул фигуру Свежникова холодным взглядом.

– Где ваши дочери? – резко оборвал его Свежников, краснея.

– Повезли работы в офис... слово такое... не наше, не знакомое, сдаваться поехали. И вот нет их до сих пор. Я волнуюсь, супруга волнуется, а они не звонят. И телефончики свои выключили, – он покачал головой и хитрым взглядом посмотрел прямо в глаза Свежникову.

– М-да! – произнес профессор и зачем-то покружился по портняжной мастерской, остановился около осиротевшего скелета мольберта, взял со стола обрывок листа, на котором был тонко, подробно выписано птичье перо.

Он повертел и так и эдак рисунок и, вздохнув тяжело, бросил его на пол. Потом засмутился, с криком нагнулся и, преследуемый молчаливым взглядом старого портного, аккуратно положил обратно на стол.

– Всего доброго, Лев... – сказал профессор и посмотрел в лицо портному.

– Можно без отчества... у нас не принято, вообще-то, – тихо ответил портной. – Но если вам так удобно, то пожалуйста... Соломонович.

– М-да! – опять протянул Свежников. – Лев Соломонович... Желаю успехов. Дочерям кланяйтесь... скажите, учитель их заглядывал. Очень, очень удивлялся.

– А чему, с позволения спросить вас, Максимилиан Авдеевич? Я говорю, чему удивлялись?

– А то вы не догадываетесь? – вскинул седую бровь профессор несколько надменно.

– Ни боже мой! – искренне настаивал Лев Авербух. – Ни в малейшей степени, клянусь!  
– Они поймут... они догадливые.

Профессор еще раз чинно поклонился и быстро вышел, оставив за собой в затхлом воздухе портняжной мастерской запах дорого одеколona.

Утром он уже был в том же офисе, где накануне до позднего вечера демонстрировали свою работу его ученицы. К тому же, оказывается, они сдали её не первыми. Перед ними, прямо с выставки в училище, успели Гарик Семенов и Иван Большой. Потому, видимо, и задержались сестрицы допоздна. А в середине дня они позвонили профессору, но, натолкнувшись на его холодный, обиженный тон, не стали продолжать разговора.

Сестрицы Авербух необыкновенно расстроились. Они вовсе не хотели обидеть своего учителя, напротив, даже стремились своей работой сделать ему сюрприз.

Учиться теперь в его «лаборатории» стало для них мукой. Профессор демонстративно обходил их мольберты, не замечал ни той, ни другой, а остальные студенты из мастерской поглядывали на них чуть испуганно, затаенно. Это была холодная война, которую профессор вел со знанием дела.

Если бы не молчаливая поддержка Вострикова, сестрицы Авербух окончательно приуныли бы.

Как-то на очередном художественном совете Свежников, скрипя голосом, сказал что-то вроде того, что ему не доверили и взгляда бросить на конкурсную работу его учениц, хотя некоторые, небось, их даже консультировали. Все покосились на Вострикова.

Обида Свежникова была столь очевидной и столь капризной, что Востриков в голос рассмеялся:

– И мне не доверили, Максимилиан Авдеевич, хоть вы и намекаете на обратное. Знаю лишь то, что они вам хотели поднести сюрприз, а вот какой, мне неизвестно. Уж коли я говорю, так верьте, пожалуйста!

– Сюрприз?! – выжал сквозь зубы профессор. – Ну и сюрприз! Вот так поднесли! Впрочем, у каждой нации свои повадки...

Он так тяжело при этом вздохнул, что могло показаться, будто всё в этом мире, что чуждо профессору по национальности, вероисповеданию и кругу интересов, направлено против него, но он, мол, как человек порядочный, вынужден с этим мириться и оттого страдать.

Востриков вспыхнул и швырнул на пол карандаш, который всё время бездумно вертел в руках.

– Да как вы смеете, мерзавец вы этакий! – вдруг крикнул он. – Это что за заявление такое!

– Что?! – вспыхнул в ответ Свежников. – Как вы сказали?!

В зале стало так тихо, словно здесь кроме этих двух разгоряченных людей никого не было.

– Это не я сказал, это вы первый... Что значит повадки! Вы о животных говорите или о людях?

Профессор развел руками и, ища поддержки у окружающих молчащих людей, обвел всех возмущенным взглядом.

Востриков выбрался из своего ряда и быстро пошел к выходу.

– Александр Васильевич, Александр Васильевич, – застучал ладошкой по своему председательскому столу ректор. – Вы куда это! Вернитесь немедленно!

Востриков резко обернулся и сказал громко и спокойно:

– С этим обиженным расистом я одним воздухом дышать не желаю. И не могу! То, что он из себя выдыхает, меня травит. Я здоровье поберегу.

И Востриков подал заявление об уходе из Художественного училища. Скандал на этом должен был увянуть, но он, вопреки всему, разгорелся с новой силой. А потворствовал этому Гермес Асланян. До него дошла причина ссоры, она покрыла прозрачным лаком смертельную обиду, нанесенную профессором его сыну, и Гермес прикатил к ректору, демонстративно

окружив себя молчаливой, темноволосой охраной и в сопровождении такого же темноволосого юриста.

– Это что такое! – яростно вращая глазами на ректора, говорил Гермес Асланян. – У нас шутят: береги, армянин, еврея, потому что, когда последнего изведут, возмутятся за армян. Это плохая шутка. Но ваш профессор, которому мы все так наивно доверились, не только обидел двух еврейских девочек, но и моего Эдика. Он украл у него идею, он забрал себе его мысли, его талант. Почему я теперь должен финансировать ваше училище? Почему я должен поддерживать вас, если тут не считаются ни с кем?

Асланяну-старшему было очень обидно, что выставленные в охрану в качестве мелкого фильтра его дальние родственники Карапетяны оказались неспособными уберечь сына. Он вдруг понял, что каналы, по которым утекает слава, средства и очень многое, что ценится в жизни, пронизывают общественное пространство помимо его внимания и его возможностей защититься от врага.

Горячая обида Гермеса Асланяна не прошла незаметно и для московского столичного руководства. За теми людьми числилось немало грешков, многие из которых разделял и сам Гермес, но чего там никогда не было и быть не могло, так это неприязни к иным нациям и к иным вероисповеданиям. Здесь главным было дело и то, какое это дело дает доход, в том числе и в карманы, нашитые на их собственных рубашках, которые, как известно, всегда ближе к телу. Со Свежниковым провели очень осторожный разговор и намекнули, что его неожиданное высказывание может причинить немалый вред как самому профессору, так и другим, общим делам.

Проводивший с ним собеседование высокий столичный чиновник даже сказал по этому поводу, что в Москве якобы действует тот же принцип, какой однажды высказал в отношении Англии Уинстон Черчилль: у нее нет друзей и нет врагов, есть лишь интересы. А вот неосторожная фраза профессора, которая при других обстоятельствах могла бы остаться незамеченной, неожиданно вылезла наружу – и благодаря тому, что «скандальный» его коллега предпринял демарш, и потому, что во время конкурса профессором были затронуты интересы людей, принявших это высказывание практически в свой адрес, и то, что прозвучало всё это из уст человека, казалось бы, безупречного во всех отношениях.

– Что вы! – краснел профессор. – Да разве ж я это имел в виду! Это Востриков, доцент наш... он даже и не доцент вовсе, а так... исполняющий обязанности... всё, понимаете ли, перевернул, извратил. Как же я могу так думать! У меня разные люди учатся, я с разными рядом и работаю, творю. Да если желаете знать, у меня старинный друг почти еврей!..

Профессору тем не менее мягко посоветовали лечь на обследование в санаторий и таким образом вычеркнуть из сегодняшнего дня неприятный инцидент. Прежде чем последовать совету, Максимилиан Авдеевич позвонил Гермесу Асланяну и постарался объяснить ему, что, как учитель, как педагог, он обязан был участвовать в творчестве своих птенцов, а совпадение в конкурсных работах лишь свидетельствуют о том, что он хороший учитель и что его ученики усваивают программу правильно. Потому, мол, и следуют его традициям, потому и совпадают их идеи. Гермес зло кривился в своем рабочем кабинете, на другой конце телефонной связи и лишь мрачно промычал в конце разговора:

– Забудем, профессор. Постараемся забыть. Но так больше не надо...

Больше всего Максимилиан Авдеевич опасался, что всё это каким-то образом дойдет до комиссии в Париже. Уже где-где, а там не терпели ни антисемитизма, ни плагиата – ни в каком виде.

Но вроде бы эта беда минула Свежникова, во всяком случае, никто его ни в чем больше не упрекал. Он, лежа уже в санатории на обследовании, с испугом думал, что всякое признание, всякая амбиция столь же неустойчива во времени, как и всякая неприятность: сегодня они есть, а завтра их и след простыл.

Вострикова ректор убедил забрать заявление назад и даже повинулся перед ним, что не выступил сразу на том совете в качестве справедливого третейского судьи.

– Вы поймите, Александр Васильевич, – сказал он прочувствованно, – если вы действительно уйдете, то это ляжет грязным пятном на всех нас, на весь творческий коллектив, который, к слову, вас искренне поддерживает и, я не побоюсь сказать, даже любит... по-своему. Бросьте свои обиды! Да и Свежников осознал... Вот ведь разболелся...

– Он на обследование лег, чтобы избежать ответственности за свои слова, – продолжал горячиться Востриков. – Да вы разве не видите, он ведь это не просто о своих ученицах, девочках, между прочим, на редкость талантливых, сказал, он целый народ испачкал! За что! Что они ему лично сделали!

Всё же Востриков остался. Он никому ничего не объяснял, к разговору этому никогда не возвращался. А длительное отсутствие на занятиях Свежникова и вовсе успокоило людей. Его «лабораторию» разобрали в другие мастерские, а сестрицы Авербух попали к Вострикову. Они знали о том, что случилось и что Сашка чуть было не хлопнул дверью из-за них, но даже не намекнули ему на то, что благодарны за его заступничество.

Между собой, однако, об этом поговорили.

– Приятно все-таки, Сарик, – томно вздохнула Женя. – Хороший он, этот наш Сашка!

– Приятно, Женюля! А вообще-то нормально, – задумчиво ответила Сара, – иначе-то как? Вот ест человек через рот, а испражняется через... Ну, ты понимаешь! Что же его надо за это благодарить, что он наоборот не делает? И Сашка сделал как положено, показал куда и что. Иначе ведь и невозможно было. А вот Максимилиана жаль! Он что-то там перепутал... Не туда кусок понес...

Сестрицы разом рассмеялись и больше к этому разговору возвращаться не стали.

Результатов конкурса в училище почти никто не ждал, потому что победа профессора Свежникова была настолько определенной, неминуемой, что это походило на голосование с одним кандидатом, то есть, если придет голосовать один лишь он и проголосует конечно же за себя, то он и выиграет. Так же думали и в столичном руководстве, успокоенные тем, что скандал унялся и профессор тихо ждет в санатории своей счастливой участи.

Открытых надежд не выражали и соискатели. Они, правда, все в душе отчаянно надеялись на победу, потому что в творчестве невозможно существовать без амбиций. Творчество – это, собственно, и есть амбиции в своем «сухом» остатке, это выжимка из человеческой самонадеянности, честолюбия и безграничной веры в свои таланты. Не будь этого, не было бы тех бриллиантов, которыми одаривают нас лишь единицы. Всё было бы скучно, почти по-канцелярски тускло и так же плоско, как какой-нибудь казахский солончак.

Соискатели ходили будто тени, не поднимая друг на друга глаз, потому что боялись увидеть в них жалость или, что еще хуже, недобрую ревность, а ведь более чем за полтора годы учебы они ни разу не конфликтовали, ни разу не желали друг другу неудачи. Это было особым испытанием на прочность их душевных качеств, которое чуть было не поколебал неожиданный приём их учителя профессора Свежникова.

Сам же он вел себя в санатории очень беспокойно, потому что ему снились сны, в которых впереди его по гаревой дорожке бежали дети с лицами студентов его «лаборатории малых талантов», а на трибуне неистовствовали те же люди. Он старался разглядеть среди них сестриц Авербух, но их нигде не было. Вот это более всего и беспокоило профессора. Еще он видел старого белоусого металлурга с его картин, который вместо того, чтобы вертеть в огненном печном жерле раскаленным шестом, грозил ему пальцем и улыбался знакомой улыбкой: так растягивал губы и нависал над ними стреловидным, хищным носом портной Лев Авербух. Противно всё это было и крайне тревожно.

«Боже! – с ужасом думал профессор, расхаживая по подтаявшим ранней весной дорожкам санаторного леса. – А если проиграю! Старый дурак! Какой позор!»

Но тут же он встряхивал головой – да не может такого быть! Кто он и кто они! Малые таланты! Почти провалившиеся вступительные экзамены! Он подобрал их, как сор, который вот-вот бы вымели на улицу. Да разве ж можно такое! Потом, там же гранты! Сотни тысяч! А может быть, даже и больше? Миллион или несколько миллионов? Что они с ними, эти дети, будут делать? Они ведь не знают, что это такое, как не знают, какую власть, какую значимость всё это способно дать. Да и потом у них вся жизнь впереди, а что у него? Годы старости, немощи, забвения...

Но Свежников тоже был человеком творческим и так же, как самый малый и слабый его коллега, подвержен обыкновенной самонадеянности, амбициям и приступам веры в свои силы. Это и спасало от чрезмерных волнений, которые могли бы вызвать у него даже какой-нибудь инфаркт или еще что-то совсем уж неприятное.

Но он постепенно успокоился, взял себя в руки и теперь рассуждал так: «Обойти меня не посмеет никто. А тот, кто всё же рискнет, пожалеет об этом десяток раз. Тут не только мои интересы, здесь интересы очень сильных людей, которые не потерпят, чтобы большие деньги и большая слава прошли, не коснувшись их».

Эту мысль в нем поддержал случайный знакомый, тоже попавший в столь необычное, раннее весеннее время в санаторий в районе знаменитого Звенигорода, принадлежащий высшим властям в стране. Свежников разоткровенничался с ним, потому что ему требовался умный собеседник и его нервы были на пределе. Они сидели на скамье, на одной из вычищенных до влажного асфальта дорожек, запахнувшись в теплые зимние пальто, нахлобучив меховые шапки.

– Ваши волнения, академик, – так называл его с намеренным нажимом на непривычный пока еще титул (он ведь совсем недавно был ему дарован) новый знакомый, – совершенно беспочвенны. Подумайте сами, Максимилиан Авдеевич, да разве в Париже думают иначе? Разве там нет такого понятия, как авторитет власти и людей, эту власть поддерживающих? Посмеют ли там поколебать основу основ любого правления? Это ли не скажется потом на них во всех отношениях? И потому, что сами когда-нибудь вкусят такие же горькие плоды, упавшие с деревьев на землю, и потому, что коммерческие силы в их стране сразу почувствуют сложности у нас в Москве, потому что их власти будет отомщено. А как же! Вы так с нами, с нашими авторитетами, так платите по счету теперь! Такое, господа, не прощается. Они это очень хорошо знают. Мне известно многое... да и опыт у меня...

Его собеседник – невысокий, умеренного телосложения и умеренного возраста, как он сам о себе сказал – представился председателем совета директоров крупного финансового объединения Игорем Ивановичем Малышевым. Модные очки с диоптриями в дорогой золоченой оправе, темно-русые волосы с седеющим густым ежиком, старорежимная аккуратненькая бородка с легкой проседью, подстриженные усики, тонкая полоска чуть отросшей щетины, соединяющая бородку с висками, щеки и лоб, загорелые не под нашим солнцем, но все же именно теперь, когда здесь сильного солнца нет, нос, как молодая картошка, прозрачные, серые и в то же время умные, выразительные глаза – всё это делало Малышева похожим на образованного, небедного дворянина начала двадцатого столетия, хотя и теперь вновь появился этот вроде бы славный тип русских мужчин. Разве что во взгляде его было что-то настораживающее, даже пугающее своей затаенной безответностью: не то какая-то задняя мысль, не то неуверенность в том, что его примут именно таким, как он хочет, и не усомнятся в нем, не то что-то еще, скрытое в его биографии, в происхождении, в тайных его пороках.

– Наша компания, например, – неторопливо продолжал Малышев, – финансирует производство важнейших агрегатов для военной промышленности, ну и еще там всякую мелочь... кинопроизводство, небольшие химические предприятия, кое-что в так называемом шоу-бизнесе и даже, знаете ли, художественные выставки и фестивали устраиваем. Недвижимостью владеем... землей, скупаем в больших количествах, потому что сейчас она мертвая, а дальше

неприменно пригодится. Так вот, однажды мы пожелали приобрести кое-что важное в Германии, два банка и еще нечто, о чем я не вправе упоминать... М-да! Так они нам стали козни строить. Журналисты подняли шум в своих газетах, на телевидении... Ну, сами понимаете... Да еще прокурорша какая-то затеяла проверку... мы, мол, нечисты на руку, и деньги у нас того... пахнут, так сказать... Хотя, как известно, они-то как раз никогда и ничем не пахнут! Вы думаете, мы стали с ними спорить? С этой палатой непуганых дураков! Не тут-то было! Но вот, имея в своих друзьях и конечно же в заинтересованных лицах товарищей оттуда...

Малышев многозначительно поднял кверху свои неглупые, чуть навывкате, глаза, и встал со скамьи, увлекая за собой Свежникова. Он взял Максимилиана Авдеевича под руку и повел по аллее к скрытому за частоколом звонких стволов сосен главному корпусу санатория. Малышев оказался ниже Свежникова на четверть головы. Теперь он негромко говорил профессору на ухо, приподнимая подбородок и чуть вытягиваясь.

– Мы перекрыли им, как сейчас принято выражаться, кислород в Москве, в Санкт-Петербурге... в Новгороде... То есть не всей Германии, конечно, – тут он хохотнул, – а тем нашим германским конкурентам, которые, по сути, и затеяли нашу травлю в Европе. Убытки, убытки, убытки... У них то есть... И что вы думаете, академик? Всё немедленно прекратилось, принципиальную прокуроршу отправили куда-то повышать свое мастерство и тренировать нюх не на нас, а на ком-то другом... Банки наши, то, о чем я намекнул, но сказать не смею, будет нашим... очень скоро... Это несомненно! А всякие преграды, которые мы у себя тем конкурентам выстроили и которые выглядели поначалу очень законно и даже незыблемо, нами сняты в одночасье, будто и не было их вовсе. Собрались мы, выпили по этому поводу, в баньке немчуру попарили, девочки... и всё! Так там речь шла не о каких-то скромных, по нашим масштабам, грантах, а о миллиардах, знаете ли! А тут что! Тьфу! Плюнуть и растереть! Демократия, равенство возможностей, корректность! Всё это слова! Слова, слова... Интерес – вот, что главное! Интерес для тех, кто имеет на то право. Это дело интимное... Не общественный туалет... Туда всякого не пускают. Вы уж извините за сравнение, Максимилиан Авдеевич! Но волноваться вам не следует. Поверьте... Всё решится, в конце концов.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.